

август 1985

# Стрелец

8

\$3.50

«Стрелец» — ежемесячник литературы, искусства и общественно-политической мысли



ПРОЗА, СТИХИ, КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ, ВОСПОМИНАНИЯ, ИСКУССТВО

# СТРЕЛЕЦ

объявляет подписку

на **1986** год

В ЖУРНАЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ, ИНТЕРВЬЮ, ВОСПОМИНАНИЯ, ЭССЕ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, КИНО, ТЕАТР, ПУБЛИЦИСТИКА. «СТРЕЛЕЦ» ПЕЧАТАЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ И В ЭМИГРАЦИИ, И В МЕТРОПОЛИИ, РЕЦЕНЗИРУЕТ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ, ВЫШЕДШИЕ НА ЗАПАДЕ И В РОССИИ, ПУБЛИКУЕТ НЕИЗВЕСТНУЮ И ЗАБЫТУЮ ПРОЗУ 10-Х — 20-Х ГОДОВ, ОСВЕЩАЕТ ТВОРЧЕСТВО РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ-НОНКОФОРМИСТОВ, ДАЕТ ОПЕРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВЫСТАВКАХ РУССКИХ СВОБОДНЫХ ХУДОЖНИКОВ В ЕВРОПЕ И США, МОСКВЕ И ЛЕНИНГРАДЕ. В ЖУРНАЛЕ ПОМЕЩАЮТСЯ СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ КАК РУССКИХ, ТАК И ЗАПАДНЫХ КРИТИКОВ И ИСКУССТВОВЕДОВ, ПОСВЯЩЕННЫЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ, ЛИТЕРАТУРЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. В ПОРТФЕЛЕ РЕДАКЦИИ НА 1986 ГОД: НОВЫЕ ПРОЗАИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, ЮЗА АЛЕШКОВСКОГО, ГЕОРГИЯ ВЛАДИМОВА, ЮРИЯ ГАЛЬПЕРИНА, ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА, ЮРИЯ МАМЛЕЕВА, ВИКТОРА НЕКРАСОВА, ВАДИМА НЕЧАЕВА, ДМИТРИЯ САВИЦКОГО, СЕРГЕЯ ЮРЬЕНЕНА И ДРУГИХ ПИСАТЕЛЕЙ-ЭМИГРАНТОВ; РАССКАЗЫ, ПОСТУПИВШИЕ К НАМ ПО КАНАЛАМ САМИЗДАТА ИЗ СССР; СТИХИ ДМИТРИЯ БОЫШЕВА, ВАСИЛИЯ БЕТАКИ, НАТАЛИИ ГОРБАНЕВСКОЙ, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА РАДАШКЕВИЧА, МОСКОВСКИХ И ЛЕНИНГРАДСКИХ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ПОЭТОВ; В РАЗДЕЛЕ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ» ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОПУБЛИКОВАТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СОВРЕМЕННОМУ ЧИТАТЕЛЮ РАССКАЗЫ, ПОВЕСТИ И РОМАНЫ КОНСТАНТИНА БАЛЬМОНТА, АНДРЕЯ БЕЛОГО, ГАЙТО ГАЗДАНОВА, АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА...

ВАС ЖДУТ ВОСПОМИНАНИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА, ИНТЕРВЬЮ С ПИСАТЕЛЯМИ, ПОЭТАМИ И ХУДОЖНИКАМИ, СТАТЬИ ВЕДУЩИХ КРИТИКОВ И ПУБЛИЦИСТОВ ЭМИГРАЦИИ.

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕСЫЛКУ: 36 ДОЛЛАРОВ ИЛИ 336 ФР. ФРАНКОВ. ДЛЯ ПОДПИСАВШИХСЯ ДО 15 НОЯБРЯ 1985 ГОДА УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТНАЯ СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ В 30 ДОЛЛАРОВ ИЛИ 280 ФР. ФРАНКОВ.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛОВ ЗА 1984 И 1985 ГГ. (ВМЕСТЕ) 55 ДОЛЛАРОВ ИЛИ 500 ФР. ФРАНКОВ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕСЫЛКУ.

ЗАКАЗЫ И ЧЕКИ ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

В США — ALEXANDER GLEZER, 286 BARROW STR., JERSEY CITY, N.J. 07302 U.S.A.

В ЕВРОПЕ: ALEXANDRE GLEZER, CHATEAU DU MOULIN DE SENLIS, 91230, MONTGERON, FRANCE.

# 8

август

1985



Директор  
МАРИ КОШЕН

Главный редактор  
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Художественный редактор  
ВИТАЛИЙ ДЛУГИЙ



Фото:  
НИНА АЛОВЕРТ  
НАТАЛЬЯ ШАРЫМОВА  
ЛЕВ НИСНЕВИЧ



PUBLISHERS: Third Wave Publishing house, a project of  
(C.A.S.E.) the Committee for the Absorption of  
Soviet Emigrees, 80 Grand Street  
Jersey City, New Jersey 07302  
Arthur Abba GOLDBERG, Chairman.

Адрес редакции в США:  
ALEXANDER GLEZER  
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302  
U.S.A.

Адрес редакции во Франции:  
Alexandre Gleser  
Chateau du Moulin de Senlis  
91230 Montgeron  
France



Цена номера — \$3.50 28F. 9D.M.  
Годовая подписка — \$36.00 336F. 107 D.M.

Просьба добавлять на пересылку \$1

Подписчикам журнал доставляется  
за счет редакции

THIS PROJECT IS DONE AS A PUBLIC SERVICE FOR  
RUSSIAN SPEAKING INDIVIDUALS THROUGHOUT THE  
WORLD INTERESTED IN THE CAUSE OF HUMAN  
RIGHTS AND FREEDOM FOR INDIVIDUALS. FOR ADDI-  
TIONAL INFORMATION CONTACT JUDITH M. WHITE  
AT 80 GRAND STREET, JERSEY CITY, NEW JERSEY  
07302. PHONE #201-332-7962.

© 1984 by "Strelets" All rights reserved

Library of Congress Catalog Card No; 84-8582  
ISSN; 0747-7287



- 4 ВАДИМ КРЕЙД — СОЗНАЙТЕСЬ, ГРАЖД-  
ДАНИН БЛОК. МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ
- 9 ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ — ДЕНЬ РОДИН.  
СТИХИ
- 10 ДМИТРИЙ САВИЦКИЙ — НИОТКУДА  
С ЛЮБОВЬЮ. РОМАН. ПРОДОЛЖЕНИЕ
- 20 ВИОЛЕТТА ИВЕРНИ — КСЕНИИ. СТИХИ
- 21 ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — ПРОВИДЕН-  
ЦИАЛЬНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ
- 22 ЕЛЕНА ТУДОРОВСКАЯ — СЕКРЕТ  
ШЕДЕВРА
- 25 КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ — РЕВНОСТЬ.  
РАССКАЗ
- 30 ОСКАР РАБИН — ТРИ ЖИЗНИ.  
ВОСПОМИНАНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
- 36 БЕСЕДА С ЭРНСТОМ НЕИЗВЕСТНЫМ —  
«...У ХУДОЖНИКА НЕ БЫВАЕТ  
КАРЬЕРЫ, А ЕСТЬ ТОЛЬКО СУДЬБА
- 41 ВЛАДИМИР МАКСИМОВ — КУЛЬТУРА  
И ВЛАСТЬ
- 44 НАШ ВЕРНИСАЖ



### ОТ РЕДАКЦИИ

Кто из любителей русской словесности не слышал о поэте Константине Бальмонте?! Полагаем, что таких нет. Но многие ли знают о Бальмонте-прозаике?! Думаем, что немногие... В этом номере журнала мы предлагаем вашему вниманию рассказ К. Бальмонта «Ревность» из его книги «Воздушный путь» (издательство «Огоньки», Берлин, 1923 г.)

На первой странице обложки репродукция скульптуры Эрнста Неизвестного «Рождение креста из умирающего кентавра», бронза, 1971-1975 гг.

Материалы авторов, проживающих в тоталитарных странах, в том числе в СССР, печатаются без их ведома

вадим крейд

СОЗНАЙТЕСЬ,  
ГРАЖДАНИН  
БЛОК●  
маленькая  
повесть

*«Демон всегда был Блоком»*  
(Ахматова)

## Глава 1

В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ СТАЛИ ДЕРГАТЬ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ. О ПОДРОБНОСТЯХ ТЕРРОРА РАЗУМНИК ВАСИЛЬЕВИЧ ОСВЕДОМЛЕН БЫЛ ЛУЧШЕ МНОГИХ СВОИХ знакомых. Должность в газете «Знамя труда», где он заведовал литотделом, заставляла соприкасаться с новостями — одна мрачнее другой. Своего собственного ареста — так вышло — он еще не ждал. К тому же выбыл на полмесяца из игры, из напряжения, холода, диспутов, телефонных звонков. Все это время пролежал он у себя на Колпинской с воспалением легких. Но вот миновал кризис, а тем временем его знакомых уже везли дребезжащие чекистские автомобили в дом на углу Гороховой и Адмиралтейского проспекта.

Зима случилась на редкость снежной и вьюжной. Уже никто не убирал снега — до того ли! Вилась в середине улицы утоптанная тропинка, да тонкие жилки дорожек ветвились от нее к присыпанным вьюгой фасадам. Разумник Васильевич начал понемногу вставать с постели, прохаживаться по комнате, чувствуя головокружение, и больше всего тянуло его в кабинет, уставленный книгами. Жизнь возвращалась, просвечивая сквозь мутную пленку слабости, а жить значило сидеть за письменным столом, на котором собраны в стопки книги с закладками, и писать. Или откйнуться в кресле, словно не думая ни о чем, и когда сверкнет мысль, явленная ниоткуда, следуя ей, написать, не отрываясь, несколько страниц.

Сегодня не мог он сосредоточиться на занятиях и относил эту несобранность за счет тощих своих сил после пневмонии. Чувствовал он пришедший к нему мир и будто благодарность кому-то, о ком он нечасто думал. Незаметно на-

чали собираться сумерки и вместе с зимней тишиной остановились над Царским Селом. В кабинете было тепло. Преимущество загородной жизни — хоть дровами удалось запастись. Он собрал со стола свои записки о Блоке — предварительные наброски, которые, может быть, лет через десять выльются в солидный труд. С Блоком бывало особенно уютно. Кажется, такой же уют, — подумал он, — и Блок ощущает, когда мы с ним вместе. Однако и тревогу. Тревожность это его свойство и даже более в эти шальные годы. Смелость Блока удивительна. Важно, чтобы на открытии академии с речью выступил именно он. Название верное — Вольная философская академия. Пусть будет как нынче модно — Вольфила. Но главное — вольная. На слово «свободная» теперь монополия, как в прежнее время на водку. Чем больше кричат они о свободе, тем больше расстреливают. Пусть там в Москве благоденствует «свободная» марксистская академия. Наше дело будет поставлено в пику московскому бедламу. Но в такую зиму трудно собрать людей, многих хватает лишь на ловлю пайковой селедки. Он сидел без света. Сумерки уже переходили в тьму, и была минута, когда сознание оставалось светлым без всякой помехи мыслей. Затем он зажег свечу, придвинулся к столу и начал писать.

Резко, внезапно, требовательно звякнул несколько раз звонок. Он взглянул на часы, шел шестой час. Варвара Николаевна вышла из столовой открыть дверь. И в ту же минуту, но показалось даже раньше, вбежал в кабинет с револьвером в руке человек. Он был желтолиц, черноус, с крупным кадыком и в темной кожанке. И знал свое дело. Из неясных еще примет Разумник Васильевич определил, что

этот вбежавший опрометью в его кабинет, был из породы бешеных псов революции. Глаза большеносого гостя метнулись на хозяина, вцепились на момент, потом побежали по книжным шкафам, обнюхали стол и остановились на Разумнике Васильевиче. За чекистом вырос крестьянского вида парень в шинели, с австрийским ружьем в руке. Осматривался он с любопытством, но глядел мимо хозяина.

— Смотри, тут ордер на обыск, — с кавказским акцентом сказал чекист, показывая на бумажку дулом револьвера.

Красноармеец переступил с ноги на ногу, встретившись с взглядом Варвары Николаевны, идиотски подмигнул ей и устоялся в темное окно, желая сказать этим, что его дело маленькое, его дело в сторонке, а прикажут — не обессудьте. Армянин решительно шагнул к столу, отчего заколебался пламени на свечке, и сдерживая амплитуду размашистых движений, перевернул рукопись и на титульном листе прочел незнакомое ему слово. Рукопись он сунул в специально принесенную сумку, огляделся опять и скривил губы и нос при виде всех этих книжных корешков — и полез в письменный стол. При виде записной книжки угрюмость спорхнула с желчного лица. Жестом карманника скользко извлек он из ящичка адресную книжку, открыл наугад и тут же сунул в сумку вроде инкассаторской.

— Сиди и не надо вставать, — сказал он Разумнику Васильевичу. — И вы, гражданка, сядь и будьте как дома, — добавил он, но поглядел на молодца в топорно сшитой шинели.

Тот откликнулся горловым звуком, произведя невнятное «нгы», для чего дернул подбородком, чуть топыря губу и опустил кованый приклад на паркет. Цокнул короткий стук, армянин стрельнул глазами, а Разумник Васильевич увидел большие навывкате белки, отразившие огонь свечки.

На Витебский вокзал поезд из Царского пришел без опоздания, часто ли такое случалось! На перроне темнели сугробы с желтым крапом мочи под фонарем. Редкие лампы горели тусклым тоскливым светом. Человек в черной кожанке шепнул конвойному в ухо и решительным шагом ринулся вперед, поскользнулся, раскинул короткие руки, матюгнувшись, удержался и понесся, не оглянувшись. Разумник Васильевич шел в сопровождении пухлогубого стража, и когда чекист скрылся из виду, парень, повесив ружье на плечо, остановился закурить.

— Писатель? — сказал он, выпуская клуб дыма и пара. — А какие книжки пишете?

— «Оправдание человека», — сказал Разумник Васильевич, решив почему-то ответить, не применяясь к примитивному виду этого малого.

— Человек — зверь, — сказал парень. — Когда революция победит, перестанет человек зверем быть.

Сказал он складно и приосанился, и в других обстоятельствах разговор с ним мог бы заинтересовать. Но сейчас от воздуха и слабости подкатывало головокружение. Не за участь свою он боялся — он боялся упасть. Полмесяца не выходил он из дому.

— Прямо держите, гражданин, вон к тому аппарату.

Чекист опускал телефонную трубку.

— Стой здесь, — приказал он красноармейцу и опять ушел.

Хорошо, что не забыл дать Варюше телефон Мейерхольда, — подумал Разумник Васильевич. Тот должен известить Луначарского и Горького, они вмешаются...

Вернулся чекист, на черных усах его блестели капли.

— Пашлы, — скомандовал он.

Автомобиль ждал у вокзального подъезда. Мотор стучал аритмично. Шофер подавал газу, чтоб продлить этот неис-

правный стук большого мотора. Армянин сел на заднее сиденье, посадив арестованного слева от себя. Сиденье под Разумником Васильевичем было прорвано, он расправил полы пальто, чтоб не сидеть на холодной пружине. Тем временем автомобиль повернул налево, они ехали по неосвещенной Гороховой. Угрюмо и безлюдно было на улице — такая безрадостная земля и ее умирающий город и несчастные люди. Когда его арестовали первый раз, еще студентом университета, ему стыдно было смотреть на жандарма, а потом на следователя. Не за себя, за них, у них тоже была своего рода честь, и не отбросили они общечеловеческих понятий, пусть жестких и узких. Но тут сидело рядом с ним существо иной породы, и контакт человеческий не был возможен с ним. В сидевшем впереди крестьянском парне чувствовалась душа, темная как эта улица, родовая, невозросшая, незделанная, но непрменные человеческие очертания были, так сказать, налицо. В этом же черноусом был ум лягавого пса, и человек для него был дичь лесная. Как озерная утка, как заяц, которого впридачу надо ненавидеть — не только охотиться за ним. Попался им в этот час навстречу лишь один автомобиль. Медленно пробирался он по встречной утрамбованной колее, издали слепа глаза. И показало, что такой же точно был этот автомобиль, ползущий среди сугробов, чтоб застигнуть врасплох еще одну жертву, испугать, обыскать, пригрозить револьвером, свести по лестнице вниз, урвать от семьи и бросить в подвал на Гороховой.

У Садовой пересек их путь трамвай, прочерчивая дугой огненную дорожку в воздухе. Надо было сказать Варюше, чтоб позвонила Блоку: шестьсот двенадцать два нуля. Да кто знает, исправили ему телефон, наконец, или нет. Вопрос, за что же арестовали его, не приходил ему в голову. Ты виноват уж тем, что хочется им кушать. Военный коммунизм нуждается в человеческом топливе. Раньше отлавливали заложников на Большой Морской, теперь выдергивают из спальни. Чекист взял лежавшую у него в ногах сумку, положил на колени. Что он успел похватать при обыске? В конце концов, все равно. Преступление окажется в том, что я писатель.

Машина остановилась у дома, где будто век назад, но так недавно помещалось петербургское градоначальство. Пашлы, — скомандовал чекист и первым вышел из машины, обнаруживая в движениях все ту же нервную энергию, неотомимое желание менять мир и нарушать гармонию, где бы она ни ютилась. У подъезда горели фонари, захлестывался на ветру флаг, стояли два автомобиля. Шмыгнула в подъезд широкозадая баба в авиаторской кожанке. Время без меры текло как во сне, стирая понятие меж его длительностью и краткостью, а ум чеканил с нездоровой четкостью, пытаюсь пересилить иллюзию и кошмар. Мысль становилась самой реальностью, и эта отчетливая дума ни о чем уже не подвластна тебе, и ум мыслит против твоей воли, против воли.

В третьем часу ночи удалось задремать на голых нарах. Но показалось, что в тот же момент набросился громкий голос: Разумник Васильевич Иванов на допрос. В щедро освещенном кабинете следователя прошел остаток ночи. После допроса достал следователь из бумаг, взятых при обыске, записную книжку и выписал на отдельный лист фамилии тех, кто имел несчастье в этой книжечке значиться: Петров-Водкин К. С., Ремизов, Штейнберг Арон Захарович, Н. Лемке — выписывал следователь в столбик, — Замятин, улица Моховая, профессор Венгеров, Сюннерберг-Эрберг, Сологуб Федор, Тетерников Федор, А. А. Блок — ул. Офицерская, 57, квартира 21, угол речки Пряжки.

Дело худо, подумал Разумник Васильевич.

Глава 2

Лет восемь назад пришел сюда к Блоку Мейерхольд, разительно энергичный. Нет, не сюда — мы жили на Васильевском острове. С ним был Сеннерберг. Было Сретенье, значит, ровно восемь лет. Стояли у окна, любуясь широким видом. Блок отошел к шкафу с зелеными шторами, молча открыл штопором бутылку нюю. Мейерхольд был в ударе, да и сам Блок в тот вечер был оживлен и разговорчив. Подали блины. И теперь он увидел накрахмаленную скатерть, кружевной воротник горничной, свои белоснежные манжеты. Был вкус к жизни, был вкус у самой жизни. И вот теперь злая скука или скучная злоба.

Перебил телефон. Здравствуйте Всеволод Эмильевич, как раз думалось о вас... Не может быть... Ну, конечно, может, даже должно так случиться. Варвара Николаевна с утра разыскала Мейерхольда. Рассказывала: ворвались как к разбойнику, с оружием. А муж еще не поправился после пневмонии, а в тюрьме ведь не топят. Мейерхольд уже звонил Горькому, Луначарскому тоже, но не застал. К нему поеду я сам, — решил Блок. Телефонная трубка пахла селедкой — запах этой зимы, недоедания и холодных комнат. Этот несмываемый оскорбительный запах будто добавлял и скуку и стужу, напоминал о себе даже в редкие часы покоя и тепла. Не думай о личном, Саша, — сказал о себе, — уговаривая себя, повторяя слова как заклинание. За стеной послышался опереточный тенор соседа. К счастью, этой зимой он уже не поет, только разглагольствует. Когда ж ты умолкнешь, сатана! Боже, как освободиться от ненависти к нему.

Когда наваливается житейское — не слышно музыки, быт убивает художника. Большевики правы, что разрушают толстозадый бесчувственный быт, то есть труп. Надо поддерживать разрушителей трупа. В этом-то и состоит трагедия русского искусства, что оно должно идти вместе с разрушителями. Мейерхольд не ощущает трагичности этой ситуации, льнет к властям, всюду принят. Блок стоял у окна, не замечая, что лед на стеклах скрывает привычный вид на портовые краны. Почему я так ненавижу соседа — «ближнего». Его оптимизм? Оптимизм не может быть глубоким ни как чувство, ни как взгляд на мир. Когда интеллигенция обращается к религии — это тоже поиск оптимизма. С такими мыслями спускался он по лестнице в этот день февраля девятнадцатого года.

Неясное солнце сочило жалкий свет сквозь морозное мажево. В лицо подуло редким колючим снегом. Несколько человек стояли на остановке с выражением терпения и обреченной скуки. Вскоре начали мерзнуть пальцы ног. Он вспомнил, как здесь у трамвайной линии газетчик выкрикивал новости, и вдруг словно ниоткуда явился узколицый человек с черными усами в черной кожанке с револьвером в руке. Он отобрал газеты и сказал зевакам с инородным выговором: вам свобода слова, а нам свобода дела. Порыв ветра рванул покруче. Блок повернулся к ветру спиной и поднял воротник.

— Здрате, Алисанд Алисандрович. Соседа-то и не признали: закутался я. Ветер хлесткий...

— Да, — сказал Блок.

Не отстает и мороз. И буржуй на перекрестке в воротник упрятал нос. Хе-хе. Это вы метко изволили заметить. Именно нос в воротник. Куда же буржуазный нос сунуть. Или в Смольный, где дров не жалеют. Вот он каков буржуй, он и боли не чувствует, так как не человек есть. А нос в воротник, чтоб пролетариев разжалобить. Это вы гениально нарисовали. Дай вам Бог, чего другим пожелали.

Блок молчал. Тропинка вдоль трамвайного пути узкая. Чтоб отойти от говорившего, надо шагнуть в сугроб. — Нет не уходите Алисанд Адисандыч, — вон и трамвай идет. — Извините меня за Бога, Бога-то упразднили. Вы на заседание, осмелюсь спросить. Это хорошо, теперь вместо Бога заседание...

В трамвае было, как всегда, тесно, а на остановке у Мариинского театра сдавили так, что двинуться трудно. Он избежал этих переполненных трамваев, ходил пешком, но сегодня надо спешить. Пройти за час от Пряжки до Луначарского по нерасчищенным улицам не удастся, хотя всегда он был хороший ходок. Вагон качнуло на повороте, баба с мешком, словно груженым кирпичами, легла на него, он ухватился за ременную петлю, от которой тоже шел селедочный запах. Мейерхольд сказал, что выпустили просидевшего два часа на Гороховой Замятина. Не сойти ли на Невском и дойти до Моховой — Замятин нанимает квартиру в том же доме, где «Всемирная литература» — и узнать о подробностях. Нет — не теряя времени к Луначарскому.

Ночью был взят и Петров-Водкин, что совсем уже не понятно. Три месяца назад, в годовщину революции Блок весь день провел на улицах. Сначала он попал на Театральную площадь, где был установлен невиданных размеров холст: мужик в косоворотке, Стенька Разин, нарисованный Петровым-Водкиным. Потом по набережной дошел он до Дворцовой площади, оказавшейся в этот день до безобразия красной и утратившей свои обычные пропорции. Александрийская колонна была забинтована алым атласным тряпьем. Говорили, что Натану Альтману выдали под расписку тысячу двадцать аршин кумача. Безрассудство, он предчувствовал это безрассудство в «Двенадцати»:

Старушка убивается, плачет,  
Никак не поймет, что значит,  
На что такой плакат,  
Такой огромный лоскут,  
Сколько б вышло портянок для ребят  
А всякий — раздет, разут.

Революция не строит, а ломает и занавешивает разрушение тысячами аршин кумача. А позднее геростратов наш подвиг войдет в историю искусства, и дети в Провансе и Техасе будут читать учебник ученого доцента и мечтать о революции. И тот, кто сегодня родился на свет, каждым днем своего существования будет расхлебывать наш подвиг.

На Неве стояли увешанные лампочками военные корабли. Играл на площади духовой оркестр. Пахла спиртом толпа. Из кузова медленно ехавшего грузовика ухала и ухала фанфара. Налетал ветер с дождем — тяжелые редкие капли — и также внезапно кончался. С Любой они последовали за процессией на Марсово поле. И там у памятника жертв революции дождь зачастил всерьез. Они промокли, но праздничное настроение оставалось. Его поддерживал будто мощный ритм, идущий из неведомого источника. Но от вида Марсова поля обычно становилось тоскливо. Некоторые места в городе действовали на него так, словно отнимали энергию. Он чувствовал эту кражу сил пустотой под ребрами. Вечером они были с Любой на «Мистерии» Маяковского. Охрипший, со скорбным видом цитировал Луначарский, а роль черта в «Мистерии» играл Маяковский. Он словно превратился в двумерную фигуру, в тень на экране кинематографа. Ощущение двумерности приходило с каждым его появлением на сцене, исходило от публики и даже от Любы. Слово весь зрительный зал был наполнен су-

ществами, сошедшими сюда с плакатов. Незабываемый день! В двумерности находишь освобождение от груза прошлых эпох, от всей этой демонической культуры. Есть в ней и свой собственный демонизм, так как эта особенность вообще свойственна культуре. Но в двумерности находишь великое объединяющее «мы», вместо проклятого индивидуалистического «я». Да, культура неизбежно демонична, но в ее революционном, плакатном (как Разин у Петрова-Водкина), в ее безличном ритме мы найдем освобождение от ветхого «я». Он вдруг вспомнил, что в детстве беспричинно любил красный цвет. Видимо потому, что этот цвет согревает. Влажный холод в душе становится суше и дисциплинированнее. После представления в театре их с Любой обступили знакомые. А когда возвращались домой, навстречу попадались люди со смоляными факелами. В полночь загремели с Петропавловки орудийные залпы...

Стекла в трамвае замерзли, не видно было, где ехал трамвай. Не хотелось никого спрашивать. С трудом он протолкался к выходу, и вышел как раз где надо. Пока мысли были заняты давним и недавним прошлым, тело узнавало каждую остановку и каждый поворот.

### Глава 3

Вышел в приемную сам Анатолий Васильевич и протянул руку. Холодная, мясистая, влажная ладонь. Ладонь Блока, узкая и сухая, встретила в рукопожатии с чем-то исключительно чужим. Но лицо наркома было добрым: усталая и, кажется, сердечная улыбка. Под толстыми бровями за стеклами пенсэ в глазах плохо скрытая скорбь. Лысый лоб, пышные усы, шуплая бородка над полосатым галстуком.

— Александр Александрович! Искренне рад. — Коснулся рукою локтя, балетным жестом: прошу в кабинет. Пропуская Блока, стоял почти навтыжку спиной к лакированной двери. Кабинет поистине дворцовый. Широкие стол, восточный ковер, белые стены, парадное окно в сад. Пышный чернильный прибор. Сегодня Анатолий Васильевич казался выше ростом и массивнее. Был вокруг него воздух игры во власть. Было в нем что-то от любимой племянницы императора — как бы это объяснить? Блоку под сорок, Луначарскому за сорок, но у того и другого являлось ощущение при встрече, что к разным поколениям они принадлежат. Провинциальность? Или в самом деле принадлежал к поколению, которое проشمыгнуло мимо той болезненной остроты жизни, которую ощутил Блок еще лет двадцать назад. Узнавал по этой затаенной остроте своих — как по паролю. Даже если «свои» становились чужими и если даже отношения не складывались или разлаживались. Впрочем, теперь в революцию важно было совсем другое: Луначарский не казался Блоку интеллигентом, и это обстоятельство подкупало в наркome. Усталое выражение лица хитро скрывало его легкомыслие. Какая путаница во всем этом. Такое лицо заставляло доверять. С таким лицом легкомыслие не вязалось. «Не большевик по темпераменту» — кто это сказал о нем?

— Какая честь, Александр Александрович! Промерзли. Сейчас чайку принесут. Га-арячего. Присаживайтесь.

— Анатолий Васильевич, тринадцатого вечером арестовали Иванова-Разумника. В чем обвиняют его?

— Вы курите, не правда ли? — Подвинул хрустальную пепельницу. Блок из портсигара вынул желтую папироску, чиркнул спичкой, та зашипела и погасла. Вторая совсем не зажглась. Больше спичек у него не было.

— Советские спички, — сказал Луначарский. — Много нам надо трудиться. У меня, вы знаете, тоже нет. Секретарша принесет.

Выглянуло солнце и в саду за высоким чистым окном было светло и тихо. Снег был не тронут ничьими следами в саду. Привиделась теплая остывающая кровь на синеватом насте, кровь, от которой шел парок.

Интересно, если бы партия приказала, пальнул бы он в меня из револьвера? Над тем местом, где ему привиделась кровь, красногрудый снегирь сел на ветку. Слишком тонкой была ветка, качнулся разок-другой и перелетел дальше. Блок давно не обращал внимания на птиц, словно их не осталось уже в вымерзавшем городе.

— Я зажгу вам спичку. Об Иванове-Разумнике мне доложили.

— Кто еще? — спросил Блок. — Замятин?

— Отпущен Замятин. Провел на Гороховой парочку чашков. Допросили и отпустили с миром. А Иванова-Разумника задержат. Ну, мы не специалисты с вами в этих вопросах, Александр Александрович. Специалисты разберутся. Я звонил в чека, они говорят, что Разумник Васильевич Москве понадобился, так что из нашей, так сказать, юрисдикции он выбывает.

— Да за что же его взяли? — сказал Блок, еле сдерживая раздражение.

— Видите ли, Александр Александрович, раскрыт заговор. Кругом заговоры, конспирация. Мы должны защищать себя. Нам с вами не следует вмешиваться в дела, в которых понимает только эксперт.

— Кто же еще арестован? Ремизов? Еще кто?

— Разве Мейерхольд не сказал вам? — Луначарский откашлялся в кулак. Пенсэ его запотело от горячего чая, он снял его, протер платком. Без привычной защиты глаза его оказались звериноватыми, но приятными.

— Один совет должен вам дать. Эта ваша Вольфила, организованная при вашем участии, несвоевременная вещь. Воздержитесь от заседаний в вашей академии или ассоциации — как вы там ее зовете. До поры до времени воздержитесь. И он грустно посмотрел на Блока как бы сверху вниз, но очень сочувственно.

Чай был ароматный, в тонком стакане. Старинный массивного серебра подстаканник. Блок слегка пересластил чай сахарином, но все равно. Мучила жажда от утренней порции селедки. Они поговорили еще о театральном репертуаре, и Блок распрощался.

— Позвольте пожать вашу руку, Александр Александрович. — Опять — мясистая, но уже теплая ладонь. — Одним словом, все образуется. Был час дня.

К нему присоединился Бакрылов, с которым Блок работал в репертуарном отделе на Дворцовой набережной. Решили пойти пешком. В театральном отделе никто ничего не делает, хаос и неразбериха. Но эта тема давно была исчерпана. Блок молчал, а спутник его не решался перебить это молчание. Блок между тем думал о делах сегодняшнего дня и о том, что вечером пойдет он с Любой в театр на «Дон Карлоса». Стихи — в прошлом. Кажется, их больше не будет, спокойно подумал он. Остались переводы, да собрания-заседания, да газетные фельетоны. Года к презренной прозе клонят. Луначарский сказал, между прочим, что энтузиасты, которые революцию восприняли только сердцем, ошибаются. Камушек в мой огород. Оторвался ли он сам достаточно от того гуманизма, который воспитал всех уро-

дами. В Луначарском, конечно, меньше индивидуализма — того, который лежал в основе старой культуры. Но чего я, собственно, добился этим визитом? Разумник в тюрьме. Подробностей не узнал, обещаний не получил. Мы — щепки в потоке. Наше поколение вообще антихудожественное, и мы заслужили свою участь. Великий ты мыслитель, Саша, — сказал он себе иронически. Но мысль настойчиво, помимо воли, неслась, как резвая тройка, и в санях обнимая бровные воротники двух столичных гуляк, трезва лишь сметливая цыганка, взятая в ресторане по уговору, который дороже денег. Как много растранижено мысли на сомнительную любовь. Почему, выйдя от Луначарского, он думает вдруг о Шиллере: Шиллер — последний гуманист, особенно в «Дон Карлосе». С тех пор — тьма, и люди не сознают. Только как пыльный луч в храме светит Гейне. Его жуткая личность — пыль, свет в храме — его талант.

Любовь, мучение любви,  
В той песне смех и слезы,  
И радость печальна, и скорбь светла,  
Проснулись забытые грезы.

Эта первозданная чистота чужда Гумилевым, чужда этому Мандельштамью. Они прошли мимо сокровищ поэзии.

— Здравствуй, Александр Александрович.

— Здравствуй.

Кто это? лицо незнакомое. Вот так всегда — кто-нибудь встретится и перебьет мысль. Спасибо Бакрылову, идет рядом и молчит. Они были уже на набережной. Проходящий мимо автомобиль обдал их облаком синего чада.

#### Глава 4

Александр Касторович Скороходов неспешно перебирал бумаги в своем кабинете на Гороховой улице. Принадлежал кабинет петербургскому градоначальнику, а теперь он, Александр Скороходов, фабричный рабочий, чумакая пьянь, сидит в этом самом кресле, где сидел градоначальник всего Петербурга — сидит и ничего. Отец, случалось, скажет: все равно человека из тебя не выйдет, Санька, а то и тумака даст. Или скажет: бить ты не желаю, только руки замарать. А посмотрел бы на меня теперь: этот паценок Санька — самый сильный человек. И где же? Во всей столице мирового пролетариата. В Питере! Так-то, братишки. Хочу казнь, хочу милую. Ни царь, ни бог, ни Феликс Эдмундович не указ. Будет время — и Феликс Эдмундович... Что они там написали? Он взял машинописную страницу и взглянул прежде всего на подписи. Это было коллективное письмо на его имя.

Председателю Петроградской  
Чрезвычайной Комиссии  
Товарищу А.К.Скороходову

Мы работники ... заверяем ... никогда ... просим ... ругаемся в нашей преданности делу ... Иванов-Разумник не состоял ... не виноват...

Коллективное письмо — ведь это тоже заговор! Он позвонил: позвоните Булацелю.

— Павел Федорович! Дворцовая набережная — твой околоток? Смотри, что блядь интеллигентская делает — шлют коллективные письма. Это ведь саботаж. Глянь-ка на подписи. Знаешь ты этих людей? Разберись. Не либеральничай. Но если который важный человек, не перегни палку, чтоб Горький с Луначарским не тявкали опять.

Булацель смотрел не мигая.

— Да ты в письмо смотри, не на меня. Я тя спрашиваю, кто там самый главный под письмом?

— Блок.

— Какой Блок?

— Поэт, он почти как Горький. Вроде наш, вроде не наш.

— Раз «вроде», значит не наш. А раз важный такой, то ты, Павел Федорович, возьми его сам, другим не поручай. Ты дело знаешь.

Он взглянул в глаза Булацелю и увидел, что уже отжил свое комиссар петроградской чеки Павел Федорович Булацель. Скороходов замечал эту особую тень на лицах приговоренных к расстрелу. Смертник еще не знает о своем приговоре, который в своем уме уже подписал Санька Скороходов. Ни одна душа в мире не ведает еще о дальнейшей судьбе этого напуганного арестанта. Тот еще надеется на хороший исход, на чудо, на Бога. И только Санька Скороходов знает его судьбу, оборвется жизнь контры через день-другой. Он видит уже смерть на лице, чует по-звериному ее. И может, не он, Скороходов, в конечном счете решил судьбу, а просто кончился век человека. Он же, Скороходов, только подписывает конец, который бы все равно со всей неизбежностью настал, не будь Саньки, не будь даже и чеки. И как занятно взглянуть на человека, который через двадцать четыре часа станет трупной падалью. Что это за мудрость природы такая, которая пишет на лице у жертвы расстрельный приказ, когда его не подписал еще сам Скороходов. И вот он увидел эту безошибочную тень на лице Булацеля.

— Как здоровьице-то, Павел Федорович? В общем ничего. Сколько тебе годков? Пятьдесят два скоро? Да как скоро-то? Ну, до восьмидесяти доживешь.

— Надо дожить, увидеть социализм.

— Доживем ли? — спросил Скороходов, заглядывая в глаза покойнику.

— Обязательно доживем. Александр Касторыч.

— Ну, иди. Привези своего Блока сегодня же.

Труп уже, а других арестовывает, — подумал Скороходов. — Загадка природы!

*Продолжение следует*



В издательстве «Третья волна»  
вышла в свет книга  
**АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА**  
«ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ».

Составитель книги и автор предисловия профессор Михаил Геллер. В книгу вошли неизвестные и малоизвестные повести и рассказы классика русской литературы XX века. Некоторые из этих рассказов не публиковались никогда. Другие увидели свет в провинциальной советской прессе 20-х годов. Объем книги 181 стр. Цена — 10 долл.

Заказы и чеки направлять по адресу:

**Alexander Glezer.**

**286 Barrow Street.**

**Jersey City, N. J. 07302.**

Пересылка за счет издательства.

ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ



ДЕНЬ  
РОДИН

Был день 8 октября.  
Какая-то разряженная фря  
глядела хмуро на сырые зданья.  
Шел дождь. Она и вырядилась зря,  
и ожидала зря свиданья.  
Будильник прорычал 11 сквозь рыданья.

Кто там? Архангел или бес  
влез в механизм, испортить время тщился.

Никто, однако, не воскрес,  
и явно Судный День не получился.  
А складывался день родин.

Есть числа. № 1001  
проквалкал на задку автомобиля,  
чьи запорожистые крылья,  
ручаюсь, никого еще не сбили.  
Однако цифры парюю нулей  
напомнили мне мотоцикл Харлей,  
тем самым задавив Шахерезаду.

А ну, хозяйюшка, налей.  
Счастливищик кряду  
2 рюмки выпил коньяку,  
и счастье откурлыкнулось: ку-ку.

Когда б оно давалось по делам,  
по справедливости, а не манером подлым...

День лопнул пополам,  
и пушка выпалила полдень.

...тогда бы счастлив был я в день родин.

Я Райнера люблю Марию Рильке...

А как же та, что связь свою ждала?  
Да, повернулась та в сердцах на шпильке  
и, бурно шевелясь, ушла.

...воскликнувшего: - Русь граничит с Богом!

Граница эта — на замке.

На берегу чахоточном, пологом,  
как бы щипок Перке,  
любовники 5 щепок воспалили,  
и плачут оба: принятый зарок  
неисполним. Быть вместе — лишь в могиле.  
И километры переходят в мили,  
дымится грязноватый костерок...

Дым в сторону летит, неблагоприятный,

где в будке телефонной  
один подлец о девушке своей  
заклеветал, но стих, как соловей,  
прошитый очередью многоточья.

Всю будку раскурочь я,  
сильней не проняло бы шелапуга,

14 часов 01 минута,  
чем те короткие гудки...

Стократ секундочки становятся горьки,  
и время цедится сквозь зубы, как цыкута,  
когда конец его и день родин  
намечены на день один и тот же,  
когда один...

В шалман, вот — храм!  
Здесь неудачник хватит 200 грамм,  
и все дела...

Под это дело килечка пошла...  
Но вот непруха —  
стакан из рук, и — об пол — дрызнь!

Добро и зло — все вместе  
смешались в жизнь  
коктейлем 50 x 200.

Отрава. Все же пьем. Худая мера,  
а меряет фавор и горе эта гиря.

Я так люблю Бодлера!

Бодлера, слышите, люблю.  
Не он ли написал на целом мире:

- Аля-улю!

Так скинемся же, братцы, по рваненькому.  
- А ну отсюда вылазьте!

Выводят водочника из кабацкой пасти,  
но постовой попался — человек.  
Алкаш отпущен был во славу нашей власти.

Я так один, что, кажется, навек.

17.40 на запястьи,

за стонущий держусь я водосток.  
Случайно этот миг я все ж засек,  
и вот свидетельствую: мир не изменился.  
Но мальчик, вдруг, зажмурившись, родился.

ДМИТРИЙ САВИЦКИЙ

Роман

НИМ

ТКУДА С ЛЮБОВЬЮ

Ольге



\*\*\*

Во втором часу ночи в хаосе перевернутой вверх ногами комнаты начал проступать порядок. Со дна раскрытой тахты был извлечен последний обрывок печатного, как они называли, материала. Понятые заканчивали просматривать гору журналов, пытаясь напоследок обнаружить застрявший меж страниц лист или письмо. Маленький шустрый Сычев, отодрав оклейку окна, ловко откупорил обе половинки и, улегшись животом на подоконник, шарил вслепую под оцинкованным законным карнизом. Стены были простуканы, из паркета вынули несколько расшатанных половиц. Отобранный материал лежал на рогоже мешка: кипа бумаг, Пари-Матч десятилетней давности, ворох магнитофонных пленок, фотокассеты, «Поэма без героя», «Воронежские тетради». Среди промелькнувших бумаг я успел заметить письмо Солженицына, переписанное от руки консультантом по Парижу, отставным послом, да несколько страниц моего черновика на желтой технической бумаге. Я нашел несколько рулонов этой желтой бумаги на даче у академика и, разрезав, печатал на чистой стороне: не на военных ли тайнах, черт побери? Папиросной бумаги с Хроникой не было. Капитан попытался было присоединить к вороху добычи и пачку западных пластинок, но я, чисто инстинктивно, успел вставить: «Не мое...». И Чарлз Мингус миновал Лефортово.

Я сидел и пытался припомнить хоть что-нибудь из процессуального кодекса или из диссидентских рекомендаций. Но кодекса в открытой продаже не существовало, единственный раз я листал его в осиной захлавленной библиотеке, а из правозащитного материала в голове застряла лишь

мудреная статья о презумпции невиновности — словосочетание, от которого вскипает кровь даже отставного гэбэшника.

В уборную повели под конвоем, закрывать дверь не разрешалось. Еще бы! Утоплю свою преступную голову в ржавом унитазе и тем самым уйду от справедливой кары. Кар-кар! Кто это сказал: «унитаз — лицо хозяйки»? Мама-ша одной из красоток, высокопоставленная бабенка... Отвели и в кладовку. Предложено было указать м о и места. На платях стояло два чемодана изрядно истлевшего самиздата первой волны, с трудом раздобытых газет довоенного времени, каждая из которых громом звучала и пахла не пылью, а хвоей. «Что здесь ваше?» — повторил капитан. Я ткнул пальцем в угол, где зажатая в раму напрасно ждала перетяжки ракетка, восьмеркой изогнутая стояла вторая, валялись мои норвежки да еще была коробка из-под китайского, времен «Сталин и Мао братья навек», печенья, набитая железной чепухой. Капитан пошарил глазами, цапнул и меня по лицу и повернулся уходить. Над его головой висела, надписью к стене, самодельная уличная табличка «Ул. Мандельштама», которую лет десять назад мы с Саней пытались повесить в Фурмановом переулке.

\*\*\*

Никита стоял мрачный. Курево кончилось, его не отпустили. Я все еще не мог вычислить причины обыска. Роджер? Рукопись? Новая волна посадок социально-опасных? Хрен его знает. Капитан Хромов, разглядывая картину Ицина: пляж, гниющие останки зонтов, мячей, шезлонгов, купальщиц и их детей — единственное мое сокровище — изволил заметить, что у него есть две в е щ и ц ы Сизова. «Из

конфискованных?» — поинтересовался Никита. «Я бы вам порекомендовал, — оскалился капитан, — подумать, почему нынче фунт лиха в пересчете на тугрики...». Никита растерянно хмыкнул. Господа опричники явились по наши души весьма подготовленными. Меня уже несколько раз спрашивали про практически невычислимые вещи. Никите передали привет от «Додика-Стальные-Яйца», который «изучает особенности северного сияния» там, где «из баб одни медведицы»... Краем глаза я вдруг заметил, что один из понятых, белобрысый кореш с комсомольским значком на свитере, перелистывая не слишком крамольный «Даун Бит», вдруг резко закрыл его и отложил в сторону уже проверенного. Я точно видел, как меж страниц мелькнула та самая лиловая папиросная бумага Хроники — билет на Север... Я попытался перехватить взгляд белобрысого, но он насупился еще больше, работа была ему явно не по душе. Дернули, небось, с дежурства в штабе народной дружины; одно дело алкашам руки вязать, а другое — шмон. «Мы не можем делать перепись всего материала, — сказал капитан, — поэтому будем оформлять изъятие». И он начал сваливать в мешок бывших и будущих эзков, бледные страницы бледных вдохновений, магнитофонные спагетти, старые записные книжки, негативы, конспекты уроков английского... Маленький удаленький Сычев подкатился и, удушив мешок веревкой, в полсекунды нацепил пломбу. Вошел еще кто-то: усталое лицо, мешки под глазами, углы рта опущены. Капитан протянул ему самиздатский перевод «Вновь найденного рая» профессора Краузе, трехсотстраничный труд по сексологии. Перевод сделал, на свой страх и риск, молодой переводчик, но издательство «Советская медицина» на провокацию не поддалось. «Способ применения льда... — прочел вошедший, — прихватите-ка и эту порнографию». «Есть, товарищ майор», — деланно официально отвечал Хромов. «Ну что ж, — повернулся ко мне майор, по всей вероятности, большой любитель сюрпризов, — одевайтесь, Сумбуров...». Это был момент, когда меня-таки прошибло с головы до ног. Оттуда — не выпускают. В сопровождении шустрого лейтенанта я пошел переодеваться в ванную. Я стоял на холодном каменном полу и, как мне казалось, с м е ш о промахивался мимо шерстяного носка. Свитер, тельняшку я выбрал автоматически. Как задумчивый плейбой, повертев в руках билет в о п е р у, бессознательно, но точно бросает на кровать легкую сорочку, с бледным исподом галстук, и стоит, разглядывая в мягком рыжем омуте зеркала двумя пальцами оттянутое вниз веко с огненной точкой ячменя, так и мы (хихикнул идиотскому обобщению) бездумно выхватываем из накренившихся в ужасе шкафов крепкие теплые вещи для путешествия к о п е р у. Клянусь, подобная литературная чушь обрушилась на меня в закутке ванной. В комнату я вошел усмехаясь; меня словно проморозило насквозь, и я освободился от подлого страха. «В тюрьме-то человек и свободен» — ненавистная мне формула каторжан начала воплощаться. Я стоял, улыбаясь, посередине разгромленной комнаты, а майор, тоже улыбаясь, сверлил и сверлил меня тусклыми своими зенками. «Когда вы видели в последний раз Зуйкова?» — спросил он, все еще продолжая сверление. Киса! Что-то стряслось с Кисой! «Не помню... До Нового года», — отвечал я. «Не

оставлял ли он вам что-нибудь на хранение?». Теперь вся команда уставилась на меня. «Нет... А что случилось?». «Вопросы задаем мы, — хрестоматийно отвечал старший по рангу дядя, который вдруг поплыл у меня перед глазами: ба-бай, не забывай полоскать горло утром свежим нарзаном... Киса, Киса, что же ты, бля, выкинул? Продай японцам водородную бомбу? Сбросил дохлую кошку на мавзолей? — Ваш друг пытался бежать за границу. Накануне он отправил вам письмо». «Я ничего не получал», — я попытался вспомнить, когда я вообще в последний раз имел дело с местным Гермесом. «Конечно, не получали», — сказал майор, протягивая мне конверт. Внутри был клочок ресторанной салфетки: «Дверь открыть нельзя. Но зато можно закрыть. Твой К.И.Са.». «Что это значит?» — спросил фельдмаршал. «Понятия не имею, — отвечал я. — Шутка. Зуйков в нашей школе был известнейшим шутником...». «Вот-вот, — протянул мне протокол обыска генералиссимус, — он и дошутился. Подпишитесь здесь. Пожалуйста, мы вас с собою не возьмем. Завтра придете сами. К девяти». И он стал чертить на бумажке план. — Сойдете с троллейбуса, вернетесь на сто метров и первая улица направо. Увидите детский сад, войдете во двор и там...». «Jail!» — не выдержал Никита. «И ты дошутись, полиглот... — сказал главный. — Захватите паспорт...»

\* \* \*

Они ушли, прихватив и пишущую машинку, и в дверь тут же заглянул чемпион. Кажется, это был единственный случай, когда я видел его в гражданских брюках. «Ни хуя себе! — сказал он, — дела! Они у нас сидели. Тебя стерегли. Чапаевцы. В засаде... Ходят ли к нему иностранцы? Шляется ли он по кабакам?.. Ты не думай... Мы ничего. Мы так и сказали — а чего мы?.. Они и телефон подключили. Проверьте, говорят, как слышно...».

Никита набивал мою старую трубку чинариками. Пальцы его тряслись. Я разлил скотч по двухсотграммовым стаканам. По самый край. Хотели чокнуться, да куда там. Расплещешь. Выпили. Никакого эффекта. «Что же с Кисой?» — спросил я. «Идем погуляем? — ангельским голосом сказал Никита. — Подышим осознанной необходимостью...»

\* \* \*

Я предложил пройти проходными дворами к цирку. В темных кривых, знакомых с детства, закоулках так легко раствориться без осадка... «Не дрожи органы, — сказал Никита, — они этого не прощают. По крайней мере сейчас тебе это ни к чему. Пусть погуляют вместе с нами». Мы молча дошли до Никитских. На пустом бульваре празднично светились фонари. Парочка широкоплечих влюбленных плелась сзади. «Не напрягай мозгу, — посоветовал Никита. — Вспомни что-нибудь из анально-орального периода... Как они Краузе схапали! Будут теперь по науке. «Способ с применением льда!» Бесплатное приложение к оргазму... У них на севере льда до и больше... Ты где жил до Каретного?». «На Соколе». «А до?». «На Зубовской, напротив сквера...». Я вспомнил, как мы бежали с братом в

Америку. На трамвае «Б». На «Букашке». Что такое Америка, я понятия не имел. Брат утащил у деда из шкафа пачку револьверных патронов и разложил их на рельсах. Как мы тогда никого не убили! Трамвай уносил нас в Америку, в сторону Новодевичьего монастыря, когда из-под колес брызнула очередь, а из окон академии имени Фрунзе посыпались стекла... Мне было четыре года, брату одиннадцать. У нас были сухари и двести рублей старыми. На железнодорожной насыпи брат посадил меня в ползком в гору идущий товарняк. Мы добрались до какой-то жалкой вечерней станции. Небо над ней было так широко, так дико, не по городскому распахануто, что я разревелся... Заспанный, похожий на бабу, милиционер зацапал нас, как только мы заявили в зал ожидания... Дед отправил после этой истории брата в суворовское училище. Я еще года два катался на «букашке»... «Тоска по утраченным фекалиям... — резюмировал Никита. — Хорошо бы зверски надраться...». Было четыре часа утра, мы стояли у витрины кинотеатра «Повторный». «Дети райка» были прикноплены под стеклом. Здоровье прямо-таки перло из меня.

\* \* \*

Я до сих пор не пойму, почему я никуда не уехал? Почему не плюнул на вызов и не смылся в Крым? Я смог бы оторваться от хвоста и уже в три дня пил бы пиво на солнечной Итальянской улице Феодосии, кося от морского воздуха... Был ли под гипнозом ГБ? Был, я думаю, был. Но, главное, я надеялся узнать, что с Кисой. В девять утра я уже входил в дверь следственного корпуса лефортовской тюрьмы. Сержант отобрал мой паспорт, позвонил по вертушке. Вторая дверь была из металла, как в бомбоубежищах.

\* \* \*

Ветка жимолости, отведенная в сторону, уронила жалкую слезу утренней поливки, и стал виден угол шербатого корта да почерневший теннисный мяч, из-под которого лезла пожухлая трава. Море ровно окатывало слух сухими солнечными брызгами. Густо пахло подсыхающей зеленью. На перекрестке двух аллей, держа свисток, как ребенок карамельку, стояла баба-Гитлер. Кто и когда окрестил ее так, неизвестно, но несла она свою сторожевую службу, отделяя захожих любителей парковой тени от законных хозяев, солидных столичных писателей, рьяно. Баба-Гитлер, глыба тяжелого мяса в цветастом халате, уже надула свои паровозные щеки, а я, выбирая просвет меж деревьями, уже приготовился к спринту, как из-за ее спины, застегивая ширинку, отмахиваясь от цепких веток, вылез долговязый Гаврильчик, официальный гений номер раз. «Ба! — зарычал он, — кого я вижу! представитель оппозиции! внутренний эмигрант! Иди я тебя облобызаю, сукин ты сын!..». Баба-Гитлер, разбираясь в субординации, шмыгнула носом и, переваливаясь, отошла в плотную тень еще не расцветшей катальпы, где на обрубке лжекоринфской колонны стояла золотом крашенная лысая голова вождя — сочетание двух культов, как говорит князь: советского и фаллического. Гаврильчик был в кожаных

шортах, в кепке с километровым козырьком и босиком. «Сразимся?» — я поднял ракетку. «Э, нет! — он сгреб меня в охапку своими, заросшими рыжими волосами, щупальцами. — Мы сейчас с тобою нажремся шампуня за мир во всем мире!.. Что же ты, вражеское отродье, никогда не звонишь в Москве?». Глухо ударил мяч, но через кипение листвы ничего не было видно, от автора «Сонаты для базуки с оркестром» несло многодневным перегаром; досада, что корт перехватили, сжимала мое все еще городское сердце, и, боком выскользнув, отметив про себя бессмертный выстрел подачи, я крикнул на ходу: «Вечером, господин поэт! Заходи вечером...».

Я несся сквозь заросли форзиции и дрока, огибая ржавый угол корта, и сердце мое кувыркалось. Где бы я ни был: у решетки зверинца на Кронверке, в Сокольническом лесу или в разбомбленном Кёнигсберге, звук скачущего мяча рождал во мне тахикардию. Лопнул взрыв реактивного истребителя, полоснувшего невинное небо до белёсого надреза, задребезжали стекла, и из соседнего писательского коттеджа раздался раздражительный бас: «Ну разве здесь что-нибудь напишешь? Завешание!..». «Вниманию отдыхающих! — грохнуло с моря. — Прогулочный катер «Киммерия» отправляется через десять минут». Роскошная шоколадница, подмигнув крыльями, снялась с амбарного замка, запиравшего сетчатую калитку. «Как ты туда забралась?» — крикнул я. Она наклонилась, завязывая шнурок; опрокинулись уже выгоревшие волосы, обнажив ее детскую шею; тугие трусики крепко врезались в плоть, а новорожденный, цыплячьего цвета, мяч, только что посланный в угол и отскочивший от деревянного бортика, все еще продолжал катиться вдоль меловой линии. Распрямившись, рывком носка туфли и ракетки подняв мяч, улыбаясь, перекатывая мяч в ладони, промокая сухим ворсом пот, она сказала: «Здесь сбоку есть дыра». Налетевший ветер обсыпал меня подсыхающим цветом акации, и, отогнув сетку, я протиснулся на корт.

У нее был правильно поставленный удар и чуть-чуть не хватало скорости. У нее была хлесткая, отлично подрезанная подача и несильный туповатый смэш. У нее была чудесная низкая посадка, и она мягко перебирала ногами перед каждым ответным ударом. У нее был короткий шрам кесарева, как я думал, сечения и маленькая грудь. Шрам в первой версии оказался ударом ножа, но позднее она созналась, что сама искромсала себя бритвой в ожидании так и не пришедшего любовника. Вместо 15-15 она говорила на детском английском "teen-teen", вместо 30-30 — "irty-irty", и вместо «игра» — «приехали!». Наше первое короткое замыкание случилось душной ночью на берегу маленькой, как выдох, бухты. Закусив губу, она задумчиво раскачивалась на мне, кося полузакрытым глазом. Кончив, она вся осела и растеклась; ее перекрученное тело сломалось по всем направлениям. «Можешь так заснуть?» — спросила она. Нас засекли однажды ночью пограничники и вытащили из воды, где мы практиковали нечто сложное, слизываемое волной. Фары стоящего на обрыве газика слепили глаз. «Документы!» — сказал невидимый сержант, и мы, обнявшись, захохотали. Нервно зевала овчарка. «Покажи им свой документ, — шептала она, — может, требуется пе-

чать...». Я любил рассматривать ее худую спину и растрепавшиеся прядки на длинной шее, когда днем она спала на моем чердаке — вся разлинованная полосатым солнцем, бьющим с тяжелой силой через щели камышового занавеса. Я вообще любил подсматривать за ней — как она, присев школьницей на каменистой тропе, бесшумно журчит, раздвинув мальчишеские бедра, в то время как ее рука автоматически обирает куст кизила — мы никогда не стеснялись друг друга, — как она, забывшись, пеплит сигарету в собственную кофейную чашку, как кокетничает, подрагивая маленьким задом, со знаменитым режиссером у входа в деревенскую киношку, или, как она плоской ладонью, придерживая левой рукой задранную до груди тишётку, далеко вытянув напрягшуюся ногу и подтянув к подбородку другую, медленно тешит сама себя, мутно плавая глазами по потолку, и вдруг, вымученным шепотом, выдавливает: «Иди сюда... скорее же...». У нее были немного разные глаза, как и у ее матери, один зеленее, другой серее, и у нас ничего не было уже два года.

\* \* \*

«Тима... — сказала она, — милый... как же я рада. Ты надолго? — Она крепко вжалась в меня, и мы простояли целую маленькую ретроспективную вечность, окатываемые волнами солнца, и я вдыхал знакомые запахи ее тела: легкий летний пот, нагретые волосы... — Я слышала, у тебя были неприятности? Все кончилось?». «Судьба вывезла, — сказал я. В лице ее было что-то новое. Под ровным загаром бежала трещина хорошо спрятанной боли. — Ты одна?» — спросил я. Женщины протискиваются сквозь наждак лет головою вперед. Вечное время не выносит временной красоты. Жалкие вечерние притирания, мед и кислое козье молоко... Скрипят жернова. Мрамор оборачивается терракотой. «Одна. Одна, к счастью. Сэт?». И ободом ракетки она бесконечно знакомым движением почесала под коленкой. «Фаф! — с фетровым звуком сдвинулся широкий маятник: — фааф...». В глазах рябило. На размягченном битуме зыбко дрожала пестрорядь листвы. «Хочешь, подавай», — крикнула она, перегоняя окраиной ко мне стайку мячей. «Играешь каждый день?» — я сделал несколько пустых замахов, разогревая плечо. «Куда там! Ключ дают только гениям, и пока кто-то не проделал лаз, мы только облизывались... Потом рыбаки украли сетку, и мы ждали три недели, пока пришлют из Москвы. Теперь сетку на ночь снимают, представляешь?.. Поехали? — На мгновение ослепнув, я отправил в путешествие первый мяч. — Сетка!» — крикнула Тоня. Подбросил и навалился на второй и, все еще чувствуя в кисти хлесткое продолжение удара, помчался вперед, краем глаза отмечая, что мяч уже проскочил навстречу, и, отметившись в правом углу, исчез. «Ах ты зверь! — я подбирал мячи. — Будет тебе Ватерлоо, оно же Аустерлиц...». Я сильно подрезал мяч, и она, присев над ним, широко расставив ноги, с вытянутой растопыренными пальцами вперед левой рукой, все же загнала его в сетку. «Тин-тин», — улыбалась она коленками, локтями, ямочками ключиц, даже затылком, повернувшись, чтобы... Тут в калитке хрустнул ключ и баба-Гитлер, глыба скифской не-

приступности, потребовала: «Ваши пропуска, граждане отдыхающие...».

\* \* \*

Сквозь Тоню, а тем более, сквозь этот парк, лохмы тамариска и ветви лоха уже пробивается другая тема, знобит перо и дырявит бумагу. Рука, помнящая столько раскаленно-счастливых изгибов, отказывается тащиться за жалкой строчкой, предательская слабость свертывает кровь, и тогда я ищу наощупь, ослепнув, не скажу от чего, в осенней моей комнате уже полупустую — куплена вчера вечером (реактивный свист мгновенных перемещений) в драгсторе на Сэн-Жермен — бутылку скотча и сижу на полу у стены полчаса, час, разглядывая чешую крыши "Aux Jambons Français" и промокшие контрофорсы собора. Как черна сердцевина тех прозрачных дней! Сколько яда влито в какую-нибудь обычную пятницу или соседний четверг моего прошлого... Высокий ветер дул тогда, окна были заляпаны синевою, и загорелая рука то застегивала, то расстегивала пуговицу у самого горла. Скажи же хоть что-нибудь... Я давно подозреваю, что скотч в Париже разбавляют. Не может быть, чтобы сорокаградусное пойло не было способно разогреть второй группы, резус отрицательный, которая не водица... Звонит телефон, но я не отвечаю. Голубь мокнет за окном, но я не впускаю. Диктор на телеэкране стучит по стеклу с той стороны, но я не включу и звук. Что он может сообщить? Что дождь не кончился? Что конец света не означает еще начала тьмы? «Хорошего вам конца света, дамы и господа! Прямая трансляция конца света будет передаваться по всем каналам, сразу после рекламы...»

Корректор, голубчик, выкини эту страницу...

\* \* \*

Затянувшееся прощание, тени прошлого, снег последней зимы, степная полынь. Все можно было бы вынести за скобки: Никиту, Осю, Кису, Роджера, тройку славных ребят из железных ворот ГПУ, даже Тоню, даже неудачную главу моего первого романа... Но я не пишу историю для читателей, проживу для критиков. Я сижу в жирной глянцевой тьме парижской ночи и ковыряю струпья своей души. Гноится всё последнее семилетие, заражена лимфа памяти, и на челе того ясного летнего дня выступила розовая сыпь.

\* \* \*

Тоня жила в самом конце поселка. Раскопки профессора Померанцева (Никак-не-Померанцева — острили на пляже; профессор получил первую ученую степень чуть ли не при царе) начинались сразу за забором. Надтреснутый греческий пифос, подарок мэтра, зарос дикой повиликой. Дом ее матери, известной актрисы, еще более знаменитой жены — дальше уж карабкаться некуда, — сверхизвестного мужа (драматург-маринист; зрителям первых рядов выдаются резиновые сапоги и лаковые плащи с капюшонами), был выстроен до войны, когда болгарская терраса или греческий портик не считались преступлением. Веранда с камен-

ным полом, увитая с двух сторон виноградом и глицинией, хранила тугую прохладу. Тоня поставила на стол бутылку домашнего вина, длинными ломтями нарезала овечий сыр. «А потом купаться, — сказала она, стягивая через голову тенниску. Вынырнув из рукавов, она перехватила мой взгляд и, сникая, сказала: — Мы же с тобою теперь, как брат с сестричкой?.. Кто-то так решил, правда?». Я кивнул. Наш инцест и без того длился пять лет.

Пришел огромный с рваным ухом кот. Прозвенел велосипед почтальона. В лиловых подтеках глицинии добросовестно ткали и ткали воздух пчелы. «Меня спасла чепуха, — рассказывал я. — У меня было несколько пластинок Коломейца. Того самого, который написал «Гимн цветущих континентов». Когда меня выпустили из Лефортово после трехдневных допросов, я отправился к нему, чтобы вернуть пластинки. Естественно, рассказал, что случилось. Что шмонали по одному делу, а самиздата набрали на новое. Он живет в высотке на Восстания. Открытый счет, закрытые глаза и т.д. Спросил, не били ли меня... Фамилию следователя. Когда я вернулся домой, он позвонил. Сказал, что из соседнего подъезда за мною пошел один воротник, а из телефонной будки второй. Сказал, что он читал «К небывшему», чтобы я не беспокоился, что он все устроит... И всё! Оказывается, он пьет с самим... Дело закрыли, вернули практически все, кроме «Скотской фермы» и перевода по сексологии. Сказали, что это порно и они обязаны уничтожить. Теперь копия гуляет по Москве с нездешней силой. Все магнитофонные пленки вернули подклееными, все бумаги систематизированы. Письма разложены по адресатам. Никиту тоже таскали, и он им сказал, что на хрена деньгами разбрасываться, платить здоровенным лбам за слежку, тратить деньги на прослушивание, платить целому отделу за жанровое и лингвистическое исследование печатного материала... «Гоните мне эти бабки, — заявил он следователю, — и я вам два раза в месяц сам буду сообщать, антисоветчик ли я, и если да, то почему». С ним тоже все утряслось. Но что я Коломейцу? Мы познакомились, когда он срочно разыскивал довольно-таки редкий диск Кёрка. Кто-то ему сказал, что я задвинут на этом деле. Я дал ему переписать, и он напрочь запил пластинку. Сказал, что привезет из-за бугра... С тех пор от него не было ни слуху. «Поцелуй меня, — сказала она, — как брат сестрицу. Один раз...».

\* \* \*

«А Киса?» — спросила она через маленькую тягучую вечность. «А Киса их всех уделал. Они раскидывали чернуху, что он увяз. На самом деле он смылся в Турцию. Я уверен, что он был бухой. Самолет вернули, но еще двое решили остаться и поглазеть на минареты. Дальше хуже. Турки обычно выдают нашего брата обратно. Там, видимо, разыгрался классический детектив: Киса давно не бегал стометровок, и до американского посольства ему пришлось попотеть. Представить себе все это трудно, даже в сбивчивом пересказе самого беглеца по "Свободе"».

\* \* \*

«Группен-секса не будет, — объявила стервозного вида де-

вица. — Кто-то подхватил трехамон...». Мы отправились на дачу к Хмырю в поисках потерянного времени — Тоня оставила часы на пляже возле лежбища сезонных хиппарей. Жара густела. Размыло горизонт и запотели горы. Суп из медуз тянулся вдоль береговой полосы. Гаврильчик, пробовавший на мне свои смелые тропы, обозвал их, пересекая наш путь, презервативами. Дельфины играли в салки. На набережной испортился винный автомат, что-то заклинило в нем, и белое вино било хилым фонтаном. Народ сбегался из соседней гостиницы с графинами, мисками, бидонами. Алкаш в тельняшке подставлял под струю свой смоленый кепарь. Пили пригоршнями. В пьяной очереди начали возникать первичные Советы. «Больше литра не отпускать, а то скоро кончится», — орали сзади. Передние же, изрядно уже дурные, как младенцев, прижимали к груди банки. Дармовой фонтан бил, как оказалось, уже минут двадцать. Половина поселка впала в свирепое дионисийство. Возле дома Поэта мы набрели на человека, державшего на лысой голове в виде компресса лиловую медузу. Он стоял, задрал голову, слушая детский лепет роля.

\* \* \*

Про группен-секс объявила Скорая Помощь. Хмырь уверял, что с ней только ленивый не пробовал. У нее было что-то вроде приготовительного класса, сексуальных яслей; она впускала в мир всхолмий и вздрагиваний юнца за юнцом. «Моих мальчиков не собьешь с толку, — заявляла она, — они твердо знают, что женский оргазм существует...». Это был единственный в своем роде дом, караван-сарай, гараж, ангар, черт его знает что... Хмырь, нежнейших свойств душа-парень, унаследовал его от отца генерала генштаба. В свободное от морских омовений время он предавался дилетантским опытам с местной коноплей и выжимками маков. Среди обитателей дачи был лобастый физик, нырнувший в буддизм; он плел сандалии, бубнил мантрамы и путешествовал в астрале. Был там отказник Гера, состоящий в односторонней переписке с ГБ и собирающийся, вот уже третий год, дать дёру через море на надувной лодке. Был знаменитый бард, существо желчное, талантливое, прожорливое. Была поклонница знаменитого барда, состоящая из глаз и ног. Были безымянные, часто меняющиеся, мальчишки-девочки, отловленные у автобусной остановки на предмет пополнения дырявого бюджета коммуны. И, конечно, Скорая Помощь, вечно держащая палец на чьем-нибудь курке. Здесь не здоровались, здесь от калитки спрашивали: даешь трешник? А уж потом сообщали, что Нина забрюхатила или Саша отравился техническим спиртом. Местная милиция регулярно водила своих инвалидов на облаву — хипы жили без прописки, — но Хмырь завел злющую микроскопическую шавку, которая поднимала хипёж от любого звука, кроме треска расстегиваемого zipperа. Так что, под залиvistый лай вся команда отступала в гору, а оттуда, по узкой тропе, спускалась в соседнюю бухточку.

Хмырь был на чердаке. Окно было занавешено мокрым полотенцем. Добродушного вида толстяк, стриженный под городского, лежал на голых досках пола. У стены, скрестив ноги по-турецки, сидела — я где-то ее видел — Ольга? Ни-

на? «Лидия», — сказала она, протягивая руку. Толстяк, продолжая лежать, щелкнул каблуками парусиновых туфель и неожиданно высоким голосом отрекомендовался: «Суматохин. Евгений Драмодерович...». И он, всхлипывая, захохотал.

\* \* \*

Так начался самый длинный день моей жизни. Правильнее всего было бы и повествование начать именно с этой минуты. Словно мягко щелкнул невидимый хронометр; «не пойти ли нам в бухты?», — перестав хохотать, произнес Суматохин; Тоня отвела в сторону полотенце; и море, неотличимое от неба, залепило взор. Хмырь пустил по кругу жирную самокрутку, и жизнь моя мягко отчалила от своей половины. Заметил я это уже зимой, где-то на Фонтанке, глядя на вмерзший в лед канала хлам: проволоку, ящики, сапог. Дул промозглый ветер с Финского залива. У продавца пирожков все деньги сдуло под мост. Толпа висела на перилах, на решетке набережной. Продавец в грязном халате и ватнике осторожно ползал по льду, собирая трешники и пятерки. Но ветер, как назло, гнал к полынье стайку розовых десятирублевых, и кто-то уже тащил занозистую доску, и сквозь толпу, жуя свисток, пробирался цельный, из одного куска сделанный, милиционер. Я стоял, стиснутый толпой, и задыхался. Я только что пересек финишную черту, луч зимнего солнца багрянил угловое окно, хронометр, наконец, перестал свистеть. Это был счастливый марафон. Старт же состоялся на чердаке Хмыря: не то чтобы не по моей воле, а неизвестно для нее. Просто подсыхало полотенце, хотелось есть, Лидия затягивалась, закрыв глаза, и лисья мордочка хозяина светилась.

\* \* \*

Берег был пуст. Тяжелое солнце придавило поселок. Куры, собаки, кошки валялись в жалкой рябой тени. Окна были глухо задраены. На продуктовой палатке мелом было выведено: ВОДЫ НЕТ. Но над Святой горой уже появилось первое сгущение — уже не облако, еще не туча. «В воздух, — сказал из-под рваной соломенной шляпы Хмырь, — можно ввинчивать лампочки. Они будут гореть». Тоня положила руку на мое плечо и тут же отдернула. «Дурак, сгорить...». «Вы откуда?» — спросил я Лидию; у нее был странный акцент. «Из Тарту», — улыбнулась она. «Ха-ха, — сказал Хмырь. «Честно говоря, я француженка. Русская француженка, но Женя просил говорить, что я из Эстонии. У вас тут ведь все засекречено...».

\* \* \*

Восточный Крым был запретной зоной. В складках гор ждали своего часа ракеты. Тетка уверяла, что от их общего старта полуостров обломится в самом узком месте и, наконец, станет островом. «Какое гадкое столетье, — морщилась она, — каааааак мне все это надоело! Бездарность... Единственное, что еще меня удерживает здесь, так это любопытство. Хочется посмотреть, чем все это кончится...».

Для иностранцев была Ялта, потемкинские деревни Интуриста, идеологически устойчивые олеандры, в профсоюзе состоящая буганвилля. Для них был свой, бетонной стеною от аборигенов отгороженный, пляж, своя еда, свои профильтрованные вечеринки. Любая машина с иностранными или туристскими номерами, вильнувшая от Симферополя влево, была обречена. Но слава нашего крошечного поселка была всемирной. Кое-кто из бывших колонистов жил теперь в Нью-Йорке, Париже или Мюнхене. И хотя министерство финансов приветствовало ностальгические набег иноземцев на наманикюренный Север или разрешенный Юг, заглянуть туда, где Мандельштам пас цикад или Цветаева вышивала Волошину плащ розенкрейцера, — ни у кого не было шанса. Иностранец виден в советской толпе, как пуговица от пальто, пришитая на рубаху. Кассирша не продаст ему билет на автобус, таксист не повезет и за миллион. Да и сам народец выявит инородное тело с талантом закоренелого самодоносчика. «Органы переводят массы на самообслуживание», — заявил мне один торжественный мерзавец. Лидия, как я узнал позже, переодетая Суматохиным во что попроще, села в автобус с десятикилограммовой авоськой картошки. Суматохин, подыгрывавший ей, начал длинный монолог о своей любви к Прибалтике. Двое перегретых портвейном пролов поинтересовались, почему у такого большого дяди такой тоненький голос. Суматохин вмиг стащил одного из них с сиденья и, слегка придушив, объяснил: «О физических недостатках в приличном обществе говорить не принято. Тебя мама этому не учила, паразит? Еще раз пасть откроешь, я тебе ноги из жопы выдерну... Понял?»

Единственный иностранец, свободно приезжавший в поселок, был итальянским физиком-перебежчиком. Ему было сильно за пятьдесят, но его бэк-хэнд доставил мне в свое время массу хлопот.

\* \* \*

Четырехсотметровая базальтовая стена давала узкую жалкую тень. Мы были одни, народ слинял. Кристально чистая вода лежала неподвижно. Черный мех одевал подводные камни. Тоня, схватив меня за руку, потащила в воду. Мы ныряли, кувыркались, возились, как дети. Солнечный свет дрожал на подводном небе; морской кот прошмыгнул маслянистой тенью. Задыхаясь, мы выбрались на плоский горячий камень. Берег был метрах в пятнадцати. Хмырь и Суматохин узкой тропой сквозь заросли шиповника продирались к горному ручью. Лидия ровно плыла к рыбачьим сетям. Я закрыл глаза. Тоня уткнулась мне в подмышку мокрым носом. Мы всё еще тяжело дышали, как после любви. «Ты тоже хочешь?» — спросила она. Ее рука скользнула вниз. Я лежал под тяжело льющемся солнцем. В мире было тихо. «Не делай этого, — попросил я. — А то все начнется сначала. «Я тебя всего знаю, — сказала она, — по миллиметрам. Я всегда знаю, когда ты хочешь. Даже если не гляжу на тебя». «Я тоже». «Я рада, что ты приехал. Ты все такой же, знаешь? Ты не меняешься. — Ее губы пожевали мочку моего уха, исчезли, сухо провели по моим губам. — Я вся теку, — сказала она, — пойдем

куда-нибудь...». Хриплый рокот мотора ворвался в бухту. Крутая волна окатила нас. Я с трудом разлепил веки — катер с тремя антрацитно-черными мерзавцами круто заворачивал в сторону Лидии, налетела вторая волна, мы свалились в воду, но Лидия уже повернула назад. Обугленные монстры, свешиваясь за борт, отпускали дежурные шутки, дыбился катер, и на берегу что-то кричали, разинув рты, Суматохин и Хмырь, и край великолепно-уродливой тучи, наконец, наехал на солнце.

\* \* \*

Тоня разложила на полотенце хлеб, зеленый лук, редиску, сыр. Стаканов не было, и бутылка охлажденного в ручье белого ходила по кругу. У тебя лопнул сосуд и порозовел чудесно серый глаз. Тоня скоро заснула, а мы потащили Суматохина в воду. Оказывается, он не умел плавать. Втроем мы пытались столкнуть его в воду, но он отрясал нас, как дуб листву, как медведь шавок. Быстро темнело, и на западе уже шуршала фольгой сухая гроза. Наконец, наша возня разрешилась радостным падением, и, в последовавшем разделении одного спрута на четверых индивидуумов, нас впервые свело случайно судорогой вместе. Падая с тобою на глубину, поневоле обнимая тебя, а потом отталкивая, я заглянул совсем близко в твое лицо.

Суматохин, охая, на четвереньках выбирался на берег. Хмырь нырнул и исчез. Ты выходила из воды, отжимая волосы одной рукою и улыбаясь странной, совсем не русской, улыбкой.

\* \* \*

Я знаю, что рано или поздно ты это прочтешь. Не закипай. Всего легче сказать, что я пытаюсь взять запоздалый реванш. Тебя тошнит от придуманного имени? Тебе не понятно, зачем я перевираю детали? О, моя радость, подожди! Я примешал к тебе столько других и случайных, затасил тебя в такую бездну совсем не твоих приключений, что тебе разумнее всего было бы смириться. Я скажу почему: в чистом виде я тебя бы не вынес. Прямой пересказ нашей с тобою короткой жизни звучал бы как неопытная ложь. Мы нарушили с тобою все, что можно было нарушить. Я лишь следую традиции.

Я знаю, ты предпочла бы, чтобы я писал о чем-нибудь другом. Как-то, под вечер наших отношений, ты сказала, что «у тебя большое русское сердце. Большое и пустое», — добавила ты.

Я собирался написать роман страниц эдак в триста. Два действующих лица: девять грамм плюмбума и довольно-таки энергичный мускул, с небольшими ревматическими отклонениями. В отличие от того, что пишу сейчас, — полное единство действия, времени и места. В лучшем аристотелевском смысле. Время действия — одна секунда. Место действия — те несколько нежнейших сантиметров, отделяющих вплотную к твоей груди приставленный ствол последние годы безработного браунинга и середину густой кровью омываемого одного из желудочков. Я был намерен описать первую встречу ничего не подозревающей эпидер-

мы с тупой яростью в девках засидевшейся пули. Слой за слоем, имея в виду твою, набитую муками радости и радостью муки, плоть, главу за главой. Не забывая ни красных кровяных, ни скачка давления. Клетка ребер? Тех, что напрягались под моею рукой? И она бы имела место в нескольких, жестоко говоря, осколочных главах... Меня не очень интересовали бы остальные функции твоего организма. Мне кажется, я сумел бы сосредоточиться на этом небольшом, немного раздавшемся от вспыхнувшего адреналина, ударе сердца. Судьба пули, я имею в виду, дальнейшая ее судьба: путь через розовыми пузырями пенящееся легкое, удар в каминное зеркало, его, как всегда преувеличенные, трещины, и, неизбежное в конце жизненной траектории, сплющивание — меня интересует и того меньше. Это для соседнего департамента, где господин Холмс пьет чай с Федором Михайловичем и в печке бутафорски потрескивает полено. О, ты знаешь, я написал бы это. Для забавы. Для чудаков, любящих не жизнь, а дробь и скобки, квадратные корни из, и логарифмы буден... так сказать, пересчет на миллионы листьев в осеннем лесу. Но я не стану. Мне нужна живая ты. С твоим засушливым лицом. С твоей легко набухающей раной. Рана лона. О, Боже! С твоей убийственной добротой и щедрейшей жестокостью. Ты нужна мне лишь для одного — я хочу, наконец, избавиться от тебя.

На моем искалеченном нынешнем языке я скажу это гораздо короче и проще: I HATE YOU WITH ALL MY LOVE.

\* \* \*

Несколько больших капель растерянно упали с потемневшего неба, а потом, без извинения, без обычной паузы, напичканной истеричным перегретым воздухом, не дождь, не гроза, а стена воды обрушилась на бухту. Все промокло вмиг: одежда, остатки еды, волосы. Камни промокли. Море. Лишь Хмырь, нырнув под навес скал, пытался спасти остатки травы. Море кипело и пенилось от белых теплых струй. Суматохин, растянувшись на гальке, углубился в чтение обрывка газеты. Но сверху, подмытый водою, сорвался камень, остро взвизгнул, отскакивая, другой, и мы, наскоро прихватив утопшие вещи, по колено в хлещущей воде, дали дёру. Уже через сто метров дорогу окончательно размыло, ноги скользили в глине, Тоня упала; помогая ей подняться, и я распластался в жирной грязи; и, помогая себе руками, неуклюже переваливаясь, мы оставили верхнюю тропу и опять спустились к морю. Десятиминутная дорога растянулась на полчаса, и когда на подъеме в поселок нас встретили целые потоки хлещущей сверху рыжей, пятнистой от садового мусора, воды, Суматохин лег в лужу и предложил возвращаться вплавь. Мы хохотали, мы были перемазаны с головы до ног, мы что-то пели, если ты помнишь... Около почты мы расстались, договорившись встретиться через час в придорожном ресторане. Гроза ушла, но поселок был затоплен. Ты завернулась в мокрое полотенце. Ты смеялась меньше других. в тебе была опасная тяжесть. Ты знала это. Тебе некуда было деваться от твоего собственного тела. Как я ненавидел Суматохина, этого толстого клоуна, уводившего тебя прочь. Курица,

сдавшись на волю судьбы, плыла с потрясенным видом в водосточной канаве. Припекало. Тоня дрожала.

\* \* \*

Мы отмывались холодной водой из шланга в саду, искали в кладовке резиновые сапоги, переодевались в сухое. В ресторане было пусто. Я спросил бутылку водки, заказал солянку на всех. Суматохин и Лидия приехали на местном дерьмовозе. «Старики! — вопил он от дверей. — Мы еле переправились, у аптеки такая лужа, что мотор заливает...». Был наш шумный шут в отличном дорожном костюме, и, глядя на него, я подумал, что такого человека нельзя похитить, а можно лишь у г н а т ь . Твои волосы подсыхали, этот русский переливчатый цвет до сих пор заставляет меня вздрагивать где-нибудь в метро, мчащимся по десятому, вполне комфортабельному, кругу.

Мы просидели до вечера. Вода за окнами спала. Суматохин заказывал и заказывал выпивку, осетрину, икру. Мы курили твой житан, а потом на пачке ты написала свой адрес. Вы укатили как только стемнело. Хмырь свалил спать. «Она тебе понравилась? — спросила Тоня. — Не дай Бог, их засекут на обратном пути. Было бы совсем глупо». Оркестрик играл нечто тангообразное. «В далекой Аргентине, где снега нет в помине, где кактусы корявые цветут...». Певец, повар с кухни, явно что-то переврал. На выходе случилась глупая драка. Двое местных корешей, на девяносто процентов размытых южной ночью, явно принимая меня за кого-то другого, дыша портвешом, попытались учинить акт агрессии. Не было времени ни позвонить в ООН, ни протрезветь. Я отнекивался, пытался объяснить, что я это не я, но в итоге, когда один стал заходить сбоку, а второй вошел в транс общеизвестных в таких случаях выражений, я ткнул в абсолютную тьму, к удивлению своему попал и, повернувшись ко второму, увидел при вспышке фар отвратительно узкую заточенную отвертку. Я попытался было перехватить руку неизвестного мне гуманоида, но в это время, исчезнувшая было, Тоня нанесла точный и справедливый, как я до сих пор считаю, удар бутылкой по кумполу идиота. Мы заструились прочь, тяжело дыша и оскальзываясь. «Где ты взяла бутылку?» — спросил я ее. «Здрасьте! — сказала она. — Мы же решили допить у тебя...»

\* \* \*

Я проснулся рано, свистнул Чомба, калитка распухла от вчерашнего ливня, он примчался с пустыря, я открыл ее с трудом. Берег моря, пляж, крыша пивного ларька, навесы — все было покрыто сплошной массой вздрагивающих, ползающих, параличных бабочек. Волны раскачивали потемневшую труху бесчисленных крыльев. «Они прилетают из Северной Африки, — объясняла мне тетка за завтраком, — и, едва завидев берег, рушатся вниз. Половина гибнет по глупости в береговой волне. Изволили назюзюкаться вчера?». Тонины ноги спускались по лестнице. Обросший рыжей грязью кофейник стоял на домашней выпечки томике «Дзена» профессора Судзуки.

\* \* \*

Поселок был не крупнее соринки, попавшей в глаз. Три знаменитых горы закрывали его от западных ветров, а эсминец восточного мыса, эсминец устаревшей марки, гасил дыхание суховея. Ветры дули циклами: три, шесть, девять. Через холмы и степи дышала Россия. Оттуда шел холод. Дождевые тучи застревали на Святой Горе, ключьями их сносило в долины. Выматывающий душу восточный ветер ссорил любовников, гнал по улицам детский плач. «В средние века, — работая маникюрной пилкой, рассказывал князь, — когда задувал восточный ветер, преступления не засчитывались». Низовка — называли рыбаки этот ветер и пошире расставляли ноги. Их совхозик, шесть-семь баркасов, лепился на краю невзрачной замусоренной бухты. «Волна Революции», — было написано на спине сарая. — «Совхоз № 1». Колючка ржавела кольцами. Обожравшийся кот лениво играл с рыбешкой.

Холмы, поросшие полынью и чабрецом, обслуживали тылы, и меж них лежала раз и навсегда убитая степь. Пересохшая до звона, в татарском узоре глубоких трещин, она играла в войну, расставив в кривом порядке низкорослую казарму со сторожевой вышкой, с десятков плоских мишеней в полный рост, да фанерный, со свастикой на лбу, танк. Овцы, подгоняемые огромной овчаркой, переходили вертолетную площадку. Вместо бубенцов на шеях их болтались банки из-под сгущенки с гайкой вместо ботала внутри.

Тарантулы жили в круглых дырах, и в дождливую погоду, присев на корточки, можно было рассмотреть брюхо мамыши, собою запиравшей вход. Немая соседская старуха, с пергаментным, как степь, растрескавшимся лицом, прутиком выковыривала паучих из гнезда и топила в склянке с постным маслом. Противоядие это показал мне ее внук, фотограф с набережной; хранилось оно за темной иконой Николая Угодника. ... Несколько лет назад, пробираясь под теплым ливнем домой, сняв сандалии и закатав штаны, я почти вступил в густое войско сколопендр, римской колонной покидающее затопленные места. По кривым горбатым улочкам поселка носились ни на что не похожие собаки. Аборигены прозвали их «трамвайчиками» — за непомерную длину и низкую посадку. Бешенство со скоростью километр в год двигалось с Керченского полуострова в шкурках издерганных травлей лис. Филоксера кралась под землей, сжирая корни винограда. Саранчей налетали на поселок пошлейшие обожатели рассекреченной литературной колонии. С конца мая по сентябрь всё тонуло вокруг в густом сиропе восторженного хамства. Цены на жалкие скрипучие койки взлетали. В хрупких курятниках день и ночь шла — выражение того же князя — «возня со стоном». За статуей пионерки с обломанными по локоть руками мутноглазый детина пытался запихнуть в штаны все еще дымящееся оружие; из-под куста барбариса торчали разведенные обессиленные ноги. Жаркими вечерами парочки, прихватив одеяла, отправлялись в холмы. Млечный путь скрипел об антенны.

\* \* \*

Тетка моя жила в двухэтажном, терпимо запущенном, со

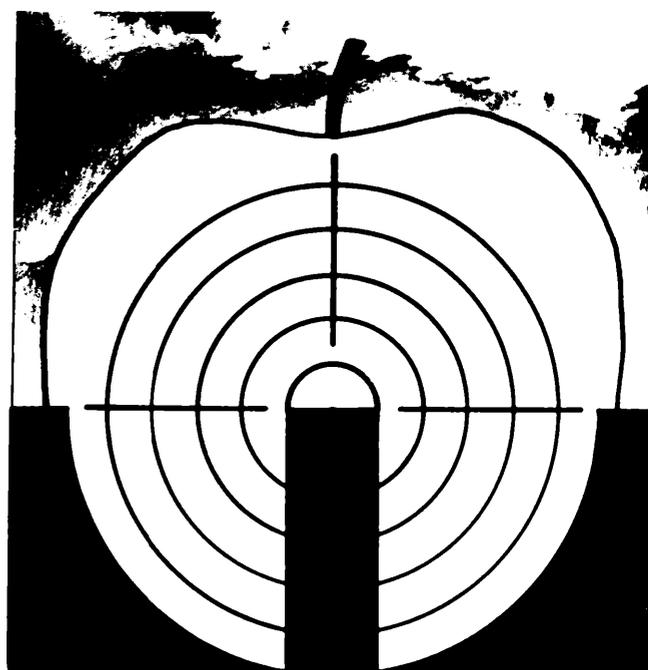
всех сторон продуваемом, доме. Легенда гласила, что однажды на уже готовый фундамент привезли и поставили концертный стейнвей, и только тогда начали возводить стены. Я числился здесь последние годы на должности поэта-кухарки. С утра кропал свой акростих, в обед охотился за продуктами, выстаивая в потных очередях одинаково скомканые маленькие вечности, гонял в теннис до шести и мчался готовить ужин двенадцатиголовому дракону веранды. В восемь я стучал поварешкой в таз, сзывая за стол внучек и бабушек, питерских знатоков сюррерализма и московских собирателей похабных лимериков. Язык веранды с трудом переводится с русского на русский.

Комната моя выходила окнами на верхушки трех пирамидальных тополей, оккупированных скворцами-пересмешниками. Они мяукали в ветвях, сводя с ума кошек, они лаяли, они, к моему потрясению, изображали стук пишущей машинки и лязг колодезной цепи. Князь Б., деливший со мною чердак, ходил надутый — комната его выходила окнами на сортир. У князя, милейшего чудака лет 27, подгуляла какая-то хромосома, и он застрял на полпути между мужчиной и женщиной. Так, по крайней мере, думала веранда. Некоторые все же решались на провокации. Так, отставная балеринка явилась к нему во время сиесты и, задрав юбку, сказала: «Я хочу, чтобы ты внимательно рассмотрел это...» Князь бежал. Тетка моя, Наталья Кирилловна, смеясь, журила его: «Голубчик, но она же просто прелесть! Какие плечи, какая грудь...». «Ах, оставьте, — корчился князь, — эти отвратительные припухлости...». Князь делал маски для лица, дипилаторием сводил волосы с ног, дышал через одну ноздрю, читал по линиям руки, голодал два раза в неделю, пил носом морскую воду и, когда весь дом уже засыпал, регулярно отправлялся «прогулять кишку». Злые языки шептали, что князь стучит, что его ночные прогулки не что иное, как рапорт капитану Загорулько, что поселок собираются закрыть, а пока изучают степень растленности колонистов. Во все этом была доля правды; время от времени как-то не так всходило солнце, волоча за собою провода, горный обвал, весь в сухих гейзерах песка, рушился на нижнюю дорогу, но звук непростительно опаздывал и был весь какой-то затертый; износившийся, под гальку сделанный, ковер пляжа заворачивался, и тогда становились видны ребра ржавых подпорок да фаянсовый скат моря, но все же мы были способны еще реагировать нормально, и лишь иногда раздражала кукольность статистов на ночной танцплощадке или явная халтура не той стороной запущенной луны. Но князь был чист, как слеза. Помню его меланхолический, к истине близкий, вопрос за вечерним чаем: «А что если все придумало КГБ?». «То есть как это в с ё?» — удивилась тетка. «Ну так в с ё: этот поселок, эту страну, этот вид неба... Придумало вообще всю историю, Азириса, Пилата, крестовые походы, крестики-нолики, французскую революцию... Мы же ничего не можем проверить. Вдруг вместо других стран по контурной карте СССР вниз идут обрывы и все спутано проволокой? Вдруг мир действительно держится на партийной черепахе и полицейских слонах? И лаборатория в Кинешме сочиняет музыку некоего Моцарта, а Казань отвечает за гнилой рок-н-ролл? Вдруг мир — гениально дешевая под-

делка для ссыльных вроде нас?». «Я вам говорила, что нельзя валяться на солнце по восемь часов», — тетка пошла за аспирином. В глубине комнат сквозь ровное глушение потрескивало радио, в саду шел спор по-французски, старина Вилли, которому на войне отстрелило зад, вылавливал из трехлитровой банки вина жирную ванессу, Антарес мигал в черных ветвях ночных яблонь, и кто-то пробовал одним пальцем выбивать мелодию душешипательного романса на теткинском стейнвее.

*Продолжение следует*

**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»  
предлагает**



**Сергей Юрьенен**  
**ВОЛЬНЫЙ**  
**СТРЕЛОК**

Нью-Йорк, 1984. 320 стр. \$18.50

Чeki и денежные переводы  
просьба направлять по адресу:

**RUSSICA BOOK & ART  
SHOP, INC.**  
799 BROADWAY,  
NEW YORK, NY 10003  
U.S.A

# РУССКАЯ МЫСЛЬ

**КРУПНЕЙШАЯ РУССКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА НА ЗАПАДЕ.  
ВЫХОДИТ С 1947 ГОДА.**

Новости из Советского Союза и материалы Самиздата.

Публикации в защиту гонимых.

Анализ политической ситуации в мире. Регулярные публикации материалов о борьбе с коммунизмом. Лучшее в западной прессе освещение событий в Польше.

Постоянные обзоры войны в Афганистане.

Проза. Поэзия. Публикации забытых и редких произведений.

Рецензии на книжные новинки и журналы. Мир искусства.

Жизнь российского зарубежья.

«Русская мысль» выходит по четвергам в Париже.

## Подписная плата на год

	Обычной почтой:		
	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	74 фр.	138	265
Все остальные страны	107	204	397

Воздушной почтой:			
Европейские страны.			
Северная Африка	119	228	445
США и Латинская Америка.			
Южная Африка	146	281	530
Австралия.			
Япония, Китай	150	290	570
Израиль, Иран	125	240	468

В цену подписки входит выходящее 6 раз в год приложение «Обозрение», аналитический журнал «Р.М.» под редакцией А. М. Некрича.

Адрес редакции: 217, rue Faubourg St. Honore, 75008 Paris.

Телефоны: 563-94-47, 563-21-83.

ВИОЛЕТТА  
ИВЕРНИ



1

*Между ночью беспечной  
И многопудовой водой,  
Под небом  
Вечного цвета дурных предчувствий  
Наш с тобой придуманный город  
Венчает устье:  
Грань между Малой бедой  
И Большой бедой.*

2

*Нам вместе жить и вместе умирать,  
Нам не избыть и не закончить спора,  
Нам друга и врага, любовь и вора  
В последнюю дорогу собирать.  
И правоты остервенелый ком  
Глотать, крестя очередную яму.  
Лететь к поминкам, как извозчик к Яру.  
Всех поминать. Не помнить ни о ком.  
И вместе стыть. И вместе кочевать.  
Назад глядеть — и жить, не кособочась.  
Быть сплавом воли — и суммой одиночества;  
Пророков не камнями побивать,  
Обвалом слов...*

3

*Ни солнца, ни птичьего свиста,  
Ни смеха из окон.  
Весна несмела, водяниста  
И движется боком —  
Беглянкой, с оглядкой.  
Задышливой девкой-чернавкой...  
Вот то-то сияла весна,  
Когда мы уезжали!  
Вся — блески, воланчики, звон,  
Маскарадные тени...  
(Скосился погон.  
Всплыло душное слово «скрижали»  
И душная мысль: на колени.  
Упасть на колени.)  
И как воробьи голосили  
(мы — хрипло и рвано)!  
Как солнце играло на лицах  
(в соленом и мокром)!  
И синие отблески  
(вверх — с автоматов охраны)...  
И рыжие пятна  
(решеток, подкрашенных охрой)...  
...Ни плача, ни птичьего слова,  
Ни света из окон.  
Засыпала крыши полова  
Недужливых капель.  
Надежней... Покоя, покровы  
Невидимый кокон.  
И память — не скальпель.  
Теперь уже  
Память — не скальпель.*

4

*Говорят, на твоей Петроградской  
Опять не горит фонарь.  
Полинявший город  
Лежит черновым наброском...  
Ты ушла, как жила:  
Старомодным усталым подростком, —  
В нелюбимый час,  
В ненавистный тебе январь,  
Под крещенский мороз,  
Гулявший по перекресткам.  
И с той ночи каждый январь,  
Каждый январь  
На Петроградской гаснет фонарь,  
Гаснет фонарь.  
И крещенским вальсом,  
Лающим в лоб,  
Лающим в лоб,  
Те, кто остался,  
Топчут сугроб,  
Топчут сугроб.  
Черной цепочкой,  
Любви оторочкой узкой —  
Мимо часовни Ксении Петербургской,  
Мимо простого, в бумажных цветах лика  
(Холодно так,  
Что почти не сдержат крика) —  
Лица, в котором упрямство:  
Отрешения, отречения...  
Лица Блаженной —  
Лица твоего, Ксения.  
Тебе я свечу засвечу на помин  
(Водки не буду — уж ты позволь),  
Но этот камень и этот камин,  
Мне будет тот камень и тот камин,  
Куда мы с тобой просыпали соль,  
Хлебный кубики — на огонь,  
Над ними прогорбиться до зари...  
Черные сухари и ночь.  
Черные сухари и соль.  
Угли и черные сухари..*

КСЕНИИ

## ПРОВИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ

Творчество Солженицына — есть некое равновесие между борьбой текущей минуты и неизменностью Божественного совершенства.

Ж. Нива

Это в нашей традиции: сознавать творчество — не как одну из автономных, рядовых, «секуляризированных» областей человеческой деятельности, но как провиденциальное служение истине. Российский автор уверен: его работа тысячами нитей связана с неземной ипостасью.

В этом основная специфика нашей литературы, ее отличие от новейшей мировой изящной словесности. И в этом же — подчас причина ее слабостей и падений.

Когда, например, Бог в сознании заменяется служением социальному переустройству и гуманистическому прогрессу — возникает уплощенная «нигилистическая» эстетика. «Писаревщина» пародирует обязательность служения правде.

С другой стороны, если этот момент вообще снимается, и художник почитает себя полностью свободным от морального долга, падает, как правило, не только духовное, но и культурно-эстетическое значение творческого продукта, убого мельчает сама «модель»...

Александр Солженицын — явление для русской литературы в высшей степени традиционное, наследующее Гоголю, Толстому и Достоевскому. Его творчество — световое ядро, пульсирующее множеством исконных традиций. Бог, правда, красота и Россия, нуждающиеся ныне уже не в просто отстаивании, но — с п а с е н и и (спасении в сознании современного человека) — неизбежные импульсы солженицынской поэмы.

Жорж Нива. Солженицын. ОРИ, Лондон, 1984 г. Пер. с французского С. Маркиша

Классики вырастают во времени, предстают перед нами объемнее и значительнее, чем перед современниками. Не то Солженицын — мы слишком приближены к нему, его творчеству, личности, мысли (мысли — к тому же вносящей глобальную коррективу ко всему просветительскому мышлению), у нас нет возможности охватить явление в целом...

Книга Жоржа Нива «Солженицын» ценна и интересна именно своей (на наш взгляд весьма удачной) попыткой обрисовать и проанализировать судьбу и творчество Солженицына в органичной связи с национальной духовной традицией и религиозным пониманием мира в контексте общей мировой ситуации, как духовной, так и политической, социальной, идейной...

«Космическое чувство Творения, изначально прекрасного во всем, — пишет Нива, — чувство той красоты, о которой говорит Книга Бытия, напитывает кульминационные эпизоды в любом произведении Солженицына. Мир — это, поистине, нерукотворный образ. Зло объясняется грехопадением, то самое зло, которое, как кажется при первом чтении, властвует в солженицынской вселенной безраздельно. Но Солженицын отклоняет всякое «истолкование» гностического или идеологического порядка, (...) в каждом случае оно происходит из личного падения человека. (...) Наконец, чувство искупления утверждает себя через посредство совести, этого подлинного мерил этики».

Таких емких и многообъемлющих характеристик духа творчества Солженицына у Жоржа Нива немало, и это выгодно отличает его монографию от многих и многих суждений соотечественников писателя...

Нива дает и тонкий идейно-историко-социальный анализ первых томов «Красного колеса». Титаническая работа Солженицына нашла покуда немного приверженцев, реакция читателей подчас трагикомически не соответствует полифонии солженицынской эпопеи и носит на редкость хлестаковский характер. Ни один из упреков как следует не аргументирован, чувствуется, что большинству это просто не по плечу. Нива пишет об «Августе» и лучше и добросовестнее других, однако, и он здесь приблизительно, чем в суждениях о прежних произведениях Солженицына.

«Ожесточение Солженицына против русских либералов, — замечает иссле-

дователь, — возможно, восходит к оригинальному и страстному мыслителю конца девятнадцатого века Константину Леонтьеву».

Да нет никакого «ожесточения». Подход Солженицына к конкретным в каждом конкретном случае. И что понимать под «либерализмом»? Притупление православного чувства? Сочувствие террористам? Нет, в понимании Солженицына — Шипов, Столыпин (думаю, что и барон Врангель) как раз и есть подлинные либералы, неуклонные приверженцы «Средней линии общественного развития». Тот же «либерализм», о котором пишет Нива (либерализм Степана Трофимовича Верховенского в лучшем случае, а в худшем — «либерализм» эсеровских экстремистов) — для Солженицына (как и для Достоевского) — отец и натуральный проводник интернационалистической бесовщины.

Сам Солженицын, если угодно, и есть подлинный либерал, никогда не клонящийся ни в сторону левых атеистических убеждений, ни в застойник консерватизма.

«Красное колесо» надо читать внимательно — это книга, помимо всего прочего, полна историко-социологического здравого смысла.

Россия для Солженицына — болевой нерв мира, средостение всех проблем и трагедий, и в этом — вовсе не провинциальный эгоцентризм: судьба цивилизации напрямую зависит от падения советского коммунистического режима. Солженицын бывает пристрастен в частностях, но общая его не только духовная, но и политическая концепция — это безусловно концепция реалиста.

К сожалению, монография Ж. Нива «Солженицын» где-то на периферии не лишена клишированных неточностей. «Солженицын несколько раз выражал свое восхищение Израилем, но эти комплименты можно истолковать как адресованное к русским евреям приглашение покинуть Россию». Что за фантастическое предположение? ...Солженицын «любуется теократией». Когда? Где? Русский монархический аппарат рисуется Солженицыным в «Красном колесе» с гениальной безжалостностью. Антисемитизм и антидемократизм — беспроявленные «бубновые тузы», навешиваемые на спину Солженицыну его недоброжелателями, имеющими к писателю претензии совсем по другому поводу или наивно не понимающими

глубин солженицынской диалектики, и такому тонкому исследователю, каким безусловно является Ж. Нива, вовсе нет надобности пользоваться сии крапленые карты. Дух, а не кровь определяет — по Солженицыну — человека. А критика демократии направлена не на ее разложение (на этом как раз специализируются многие из попрекающих Солженицына западных журналистов), но на ее духовное укрепление перед лицом советизма.

...Некоторые упрекают Солженицына еще и в авторитарной гордыне. Такие претензии — следствие атрофии религиозного мироощущения.

Солженицыну дана в ощущении п р о в и д е н ц и а л ь н о с т ь своего творчества, своей судьбы. И слава Богу.

Юрий Кублановский

## СЕКРЕТ ШЕДЕВРА

Рассказ Г. Владимова «Не обращайтесь внимания, маэстро» поистине может быть причислен к шедеврам русской литературы нашего времени. В этой небольшой вещи Владимова уместилась целая череда разнообразных и противоречивых чувств и мыслей в их смене, борьбе и художественной законченности.

На рассказ Владимова написана рецензия С. Довлатова (опубликованная в № 49 журнала «Семь дней»). Даже не рецензия, а вернее информация о рассказе с некоторыми комментариями, размышлениями читателя по поводу рассказа. Размышления эти представляются неполными, не доведенными до конца, но сами по себе они имеют достаточный интерес. Довлатов — и сам мастер, и его мнение, даже неполное, достойно внимания, дает материал для дальнейших рассуждений и выводов.

Прежде всего, в рецензии Довлатова

сделано изложение, но не всего сюжета, а скорее ситуации, определившей собою сюжет. Напомню эту ситуацию, сложившуюся примерно к середине рассказа.

В небольшой московской квартире проживает семья из трех человек: папа — Матвей Григорьевич Городинский, мама — Анна Рувимовна и сын, Александр, молодой, 32-летний аспирант. Он и рассказывает нам в качестве свидетеля эту немислимую историю.

Однажды утром в квартиру Городинских приходят неизвестные люди, заявляют, что вселяются (правда, временно) в одну из комнат, забирают у хозяев телефон, определяют некий регламент отношений. Говорят: «Если будут спрашивать во дворе, можете отвечать — приехали родственники». Эта фантазмагория разъясняется по-советски просто: люди эти — группа функционеров КГБ. Их трое: «мордастый» начальник, его помощник Коля-Моцарт (прозванный так, видимо, из-за его пристрастия к песенке Окуджавы) и дама-техник. Они устанавливают слежку за квартирой напротив, в соседнем доме, во дворе их микрорайона. В распоряжении пришельцев загадочная аппаратура, помощники где-то во-вне (с ними сносятся по телефону, и все они откликаются на одно общее имя «Валера»). Хозяев квартиры «родственники» особенно не притесняют, даже доброжелательны к ним, хотя и с поправкой на сыск и надзор. Но они здесь не за этим.

В квартире напротив живет писатель-диссидент, печатающий свои произведения за границей (это собирательный, обобщенный образ, хотя его жизнь повторяет многие черты биографии самого Владимова). Слежка ведется за его работой и за его посетителями-иностранцами, которые посредничают между писателем и заграничными издательствами и помогают вывозить за границу микрофильмы его рукописей. Ситуация эта, как говорит Довлатов, «подавляет советских квартироремонтников заложенной в ней неотвратимостью и тем ... чувством, которое проще всего выразить словами: «Значит, так надо».

В рассказе Владимова уделено немало внимания представителям КГБ или, как их называют в просторечии, «кагебешникам». Они являются перед нами с набором интересов и черт советского обывателя, — и в то же время с абсолютно растленной психологией. Они развращены привилегиями своего положе-

ния, неоспоримой властью над окружающими и полной безнаказанностью. Их привилегии, например, — снабжение в закрытой столовой, где их «отоваривают» дефицитными продуктами, и они считают это вполне нормальным. Они претендуют на все лучшее. Дама-техник говорит о поэтессе Белле Ахмадулиной «тоном сожаления, но отчасти и превосходства»: «Сапожки не модные у нее... Наши таких сто лет не носят». Вместе с тем она злобно возмущается поднадзорным писателем, которому привезли из-за границы модное пальто для его жены: «Это же скрытый гонорар. Совсем уж обнаглели. И что только делают, что делают!»

Разговорам, которые слышат из-за стенки хозяева, присуща некоторая шаржированная, даже гротескная двойственность по отношению к диссидентам, за которыми следит КГБ. «Успехи наблюдателей были скорее успехами наблюдаемого, но они, странным образом, считали их как бы своими». Мордастый начальник с некоторой даже гордостью говорит, что новое произведение их поднадзорного — «романище мирового класса». И в то же время он, ни минуты не задумываясь, изничтожил бы писателя, если бы на то «были даны указания».

Коля-Моцарт, помимо наблюдения за писателем, выполняет «общественные поручения» своего отдела — звонит по телефону известным диссидентам и вдохновенно ведет с ними наглые, оскорбительные разговоры, имеющие одну цель — лишить людей душевного равновесия. При этом он даже как бы сочувствует им, что не мешает ему «вкладывать всю душу» в эти свои садистские телефонные импровизации. Словом, изображение агентов КГБ в рассказе — гротеск, хотя и без особой заостренности. Этому вполне отвечает слегка гротескное изображение и других действующих лиц рассказа — таких, как фигуры папы или мамы, автопортрет молодого человека и пр. (Надо заметить, что такой легкий — без нажима — гротеск, не переходящий в сатиру, вообще свойствен художественной манере Владимова: вспомним хотя бы выразительные, заостренные диалоги в его романе «Три минуты молчания»).

Изображение «кагебешников», их поведения и разговоров, входит в ситуацию рассказа и определяет собою отношение к ним тех людей, которые зависят от их произвола.

КГБ на все имеет право, и семья Го-

родинских по необходимости покоряется. Правда, папа и мама полны скрытого протеста, хотя внешне относятся к своим квартирантам с уважением, подчиняются их требованиям, — против рожна не попрешь! Но сын Александр более или менее примирился с ситуацией. И жить, и работать на кухне, куда его выселили, оказывается вполне удобно («Мы устроились отлично»), а к даме-технику он даже равнодушен, хотя она его попросту не замечает.

Вначале сын думает, что следовало бы предупредить писателя о ведущей за ним слежке, но постепенно он утрачивает мужество, и его страх так характерен для несчастных советских граждан: в каждом человеке на улице ему мерещится «Валера», агент КГБ; он не может решиться заговорить с писателем и даже (по словам Довлатова) «начинает испытывать досаду по отношению к человеку, причинившему ему, аспиранту, будущему кабинетному ученому, столько душевного неудобства». Таким образом в рассказе подмечена «характерная, увы, черточка нашей жизни — создание блуждающей, уже не связанной с традиционными ценностями нравственной шкалы, передвижные мерки которой всегда соответствуют нашим колеблющимся, уступчивым и слабым натурам...»

Общий вывод Довлатова: читая рассказ Владимира, «испытываешь чувство обреченности и бессилия».

А ведь это не конец рассказа.

Рецензент полон горечи; он не хочет и не может видеть ничего больше, кроме удручающих его черт советской бесправной жизни и советского бессильного характера. Он остановился на полдороге, не захотел идти дальше, может быть, потому, что дальнейшее как-то не согласовывается с его горькими впечатлениями от этой ситуации.

«Чувства обреченности и бессилия» вполне могут быть понятны любому из нас, русских читателей, и в то же время чувства эти обостряют наше восприятие, заставляют ждать их опровержения.

Итак, с возмущающим душу чувством обреченности и бессилия мы продолжаем чтение.

Конечно, молодой человек не пригоден ни к какому разумному действию («лопух», как выразился о нем один из персонажей рассказа). Почему он оказался таким? Он был полон отвращения к советской действительности, ни в чем не хотел принимать участия. «С опоз-

данием на семь лет, после жалкого и ненавистного мне учительства в школе, я влез в эту аспирантуру, пусть по другому профилю, но с такой темочкой, от которой нашему строю ни горячо, ни холодно, и за которой можно как-то пересидеть — если не рыпаться». Вот он и не желает «рыпаться». Он собирается защищать диссертацию на совершенно индифферентную тему: «Опыт анализа онтологических основ древне-тамилского эпоса сравнительно с изустными произведениями на праkritах». Ему хотелось уклониться от участия в окружающей жизни. Он и уклонился, но перестал что-либо в ней понимать. Как еврей он мог бы эмигрировать (как эмигрировала его невеста Дина), но у него не хватило решимости.

Папа и мама его совсем не таковы. Папа в прошлом — инженер-конструктор, «проектировщик плавильных агрегатов для цветного литья», до пенсии работал в конструкторском бюро большого завода, — и кое-что, все-таки, понимает в советской действительности. Вообще, наблюдательность, воображение, точность мысли свойственны ему в гораздо большей степени, чем сыну. Конечно, он тоже не храбрец; как и сын, он не решается пойти и предупредить писателя о слежке. Он не способен ни на какой явный протест, активное сопротивление. Но в то же время и пассивное молчание для него нестерпимо. Характерная сценка: уходя по своим делам, мордастый говорит папе: «В целом мы вами довольны». — «А мы вами — нет, — отвечает папа, впрочем, когда дверь за мордастым закрылась».

В сущности, сюжет рассказа состоит в том, — как папа выжил КГБ из своей квартиры.

Папа излагает сыну «кошмарную гипотезу»: квартиранты только выдают себя за работников КГБ. «Мы с мамой давно уже догадались. Уголовники они. Обыкновенные уголовники. Но — международного класса... Нашего визави они хотят ограбить, только — в валюте. Они уже заранее считают его деньги. Сколько он получит в Германии, сколько во Франции... Они только ждут, когда он закончит, чтобы тут же захватить рукопись. И этим они его будут шантажировать...».

С этой «гипотезой» папа в сопровождении сына отправляется в районную милицию, в оперативный отдел.

Сын ожидает, что вот-вот сейчас «попросят за дверь», но, как ни странно, начальник отдела, майор, соглаша-

ется с папой; он немедленно вызывает двух агентов и отправляет их арестовать «уголовников», угнездившихся в квартире Городинских. В ходе «задержания» выясняется, что тут «вышла ошибочка», все улаживается, и, освободив захваченных «бандитов», агенты Угрозыска уходят восвояси.

Но это лишь чисто фабульная поверхность рассказа. Под нею скрыт целый клубок отношений и событий.

В рассказе присутствует один мотив, пронизывающий весь сюжет. Этот мотив служит ключом к скрытому в сюжете смыслу. Это — анекдоты о глупости милиционеров; анекдоты, которые, как слышал папа, за стеной рассказывали друг другу его квартиранты. Папа пересказывает их майору, добавляя для верности, что анекдоты эти «с очень нехорошим политическим духом», даже «махрово-антисоветские».

Сын шокирован: «Бог мой, это говорил мой папа, который во всю свою жизнь ни на кого не донес, ни разу даже не пожаловался!».

«Про нашу милицию, — сказал папа... — Про милицию? — в глазах майора зажглось что-то зеленое, как у kota, когда он смотрит на птичку».

Зачем папа рассказывает анекдоты майору? Ведь, это вовсе не доказательство его «гипотезы». И почему придает им такое значение майор? Он заставляет папу пересказать анекдоты его подчиненному, агенту Угрозыска, и в тот же день сам успевает передать их агентам, которых посылает «взять» бандитов. Проводя эту «операцию», агенты тоже припоминают своим задержанным оба анекдота.

Надо думать, сам папа не верит в свою «гипотезу»; он прекрасно знает, кто такие его квартиранты. Просто — он бессилен перед ними, но хочет ущемить их побольше и только перекладывает это на более сильные плечи. Попросту говоря, он натравливает милицию на КГБ. Разумеется, не верит в эту фантазмагорию (с «уголовниками») и майор. Искренность папы его несколько не интересует, но он рад случаю посчитаться с КГБ. Тут есть повод, по которому вспыхивает всегда готовая вспыхнуть неприязнь ущемленной милиции к всемогущему Комитету Государственной Безопасности. Анекдоты о милиции в устах какого-нибудь уголовника «Володьки Боже-мой» не задела бы майора. Другое дело, если анекдоты, высмеивающие милицию, исходят от КГБ. Как говорит майор, «Это

уж мне известно, кто их сочиняет. И зачем.» Кто? — КГБ. Зачем? — чтобы унижить милицию.

Но все же анекдоты — только повод. Настоящая причина раздражения майора — в том пренебрежении, которое КГБ постоянно оказывает милиции, не считаясь с ней. Он и не преминул воспользоваться случаем, чтобы напомнить о правах милиции.

«Майор закрыл глаза, словно чтобы погасить в них зеленое, злое мерцание, и — после долгой выдержки — медленно их открыл...» Все, что рассказал ему папа, майор противопоставляет неуклонную твердость своей позиции. «У вас в квартире никого быть не должно. Этому писателю нашему наружное наблюдение не полагается... Нас бы тогда предупредили. Я бы, по крайней мере, знал. Поэтому ваше предположение, что они бандиты, обоснованно». И недаром его агенты после «операции» говорят «мордастому»: «Не забудьте поблагодарить ваш семнадцатый отдел. Который нас не всегда предупреждает. А мы этого не любим».

Эти молодые люди — агенты Угрозьска — вполне в курсе дела. Они знают заранее, чем кончится «операция». Конечно, могла быть и перестрелка (как говорит Коля-Моцарт, «А если бы у меня еще оружие оказалось?.. Уй, что бы тут было!»). Но молодые агенты вели себя, как на «задержании» обычных бандитов, только издевались над задержанными как хотели, вплоть до мер физического воздействия. Началь-

ника группы они, впрочем, не тронули, «врезали» только Коле-Моцарту, да зверски ушипнули («оттянули») даму-техника.

Власть поиздевавшись над задержанными кагебешниками, молодые люди отпускают их с миром и уходят, «весело перемигнувшись»: они выполнили задание майора.

Начальник группы, «мордастый», вне себя от ярости. Но позиция папы неподкопаема, и мордастый это понимает. Папа только «проявил бдительность», «поступил как советский гражданин».

Но функционеры КГБ посрамлены, унижены; их «оперативное» инкогнито раскрыто, «государственное задание» сорвано. Мордастый говорит: «Мы не сможем продолжать работу из вашей квартиры». Нравственная победа оказалась на стороне бесправных квартирсыемщиков...

А у нас, читателей, чувство обреченности и бессилия сменяется чувством торжества и удовлетворения. В этом перепаде чувств — когда вдруг нам открывается истинный смысл происходящего — и заключается секрет высокого художественного эффекта, который поражает в рассказе Владимова.

В конце концов, расстроена и возмущена одна только мама. Она — человек старого воспитания; для нее нет «блуждающей шкалы» нравственности. Для нее «кагебешники» — тоже люди; нельзя так издеваться над ними и унижать их.

Папа же, хотя и очень боялся, но «уси-

лился» (« Попрошу вас: усильтесь» — говорит майор) и проявил не меньше характера и изобретательности, чем В.Буковский, который рассказывает (в своей книге «И возвращается ветер...»), как он в тюрьме сумел организовать поток жалоб от заключенных на тюремное начальство и задал жару прокуратуре и этому самому начальству, которые должны были разбирать сотни жалоб. Демагогические правила прокурорского надзора он сумел обратить против них же, против самого надзора.

Сильнее КГБ оказался и писатель — «маэстро». Он нравственно и душевно выше этой кагебешной мышины возни вокруг его творчества. «Я увидел в окне в пятом этаже нашего визави, склонившегося над книгой или своими писаниями. На несколько секунд он поднял голову и посмотрел в нашу сторону — может быть, услышав необычное или почувствовав чей-то взгляд, — но вряд ли смотрел на что-то определенное... скорее — блуждал в своей туманной перспективе. Потом голова опустилась...»

Разумеется, его в конце концов заставят уехать из Союза. Что же — *Моцарт отечества не выбирает, Просто играет всю жизнь напролет.*

Не оставляйте стараний, маэстро! Не поддавайтесь чувству обреченности и бессилия!

Елена Тудоровская

**Читайте  
в следующем  
номере  
«Стрельца»**

**Проза: Андрей Белый, Вадим Крейд, Дмитрий Савицкий  
Поэзия: Константин Кузьминский, Виктор Соснора  
Воспоминания Оскара Рабина  
Публицистика Владимира Максимова  
Статья А.Радашкевича о поэзии Юрия Кублановского  
Обзоры выставок, рецензии на новые книги**

РАССКАЗ ● КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ

## РЕВНОСТЬ

Ревность давно прозвали зеленоглазым чудовищем, про зависть же говорят, что у нее желтый огонь в глазах. Не знаю в точности, как это нужно понимать относительно зависти, в прямом ли смысле или переносном, то есть в том смысле, что зависть сжигает. Но что при вспышке ревности у человека в глазах загорается зеленый свет, это мне известно доподлинно. Зеленый, зеленый, видел много раз. Так хорошо запомнил, что даже во все зеленые глаза гляжу с невольной тревогой. И потому, что мне нравятся зеленые глаза, и потому, что пугаюсь в них притаившегося навсегда традиционного чудовища. Задремать — задремало, а ну как проснется? Ибо все зеленоглазые поистине ревнивы. Хоть это иногда и долго не видишь.

Впрочем, у той, что сейчас мне вспоминается, глаза были серые, светло-серые. А еще у другого, у того, что мне сейчас вспоминается, глаза были светло-голубые. Пожалуй, если вспоминать, так припомнишь, что и в Черном море, как в иных морях, горит огонь маяка, и во всякого цвета глазах загорается зеленый огонь. Но почему именно зеленый? Цвет жизни. Или это потому, что пока мы живем в этой жизни, мы вечно бродим в слепоте, а что же более слепо, чем ревность?

Может быть. Ничего не знаю. Приходит это бешеное чувство нелепо и внезапно. Вдруг словно слепень ужалит человека. И начнет метаться. Не видит, где ступает. Не видит, что берет, что роняет, что разбивает безвозвратно. Словно пьяный. Словно сумасшедший.

Я, знаете ли, ревность ненавижу и презираю. Вы говорите, что художник, как в игре в фанты, во всю свою жизнь должен да и нет не говорить, черного и белого не называть. Это, конечно, так. А то за утверждением или за отрицанием — живой жизни не увидишь, уйдет, как песок уходит между пальцев сжатой руки. Но я ведь сейчас не как художник говорю, а просто как человек, который кое-что видел в жизни.

Я, впрочем, презираю лишь одну ревность — выявленную, а их всегда две бывает, тайная и явная. Тайная еще злее. Одна во вне ранит, другая внутрь. Одна другого ударяет и бросает в него грязью, комками грязи и крови, а другая собственное сердце жалит, точит, грызет, в слова не уходит, в речи не находит облегчения, и так до смерти может извести. Известное дело — тихое помешательство всегда опаснее буйного.

Вы хотите узнать, как изумруды сии загорались в глазах у сероглазой? Нет, сударь мой. Об этом мне вспоминать сейчас не хочется. Уж очень долго я в этом сиянии побыл. До омерзенья. До такой ненависти, что ни перед каким бы преступлением не остановился, лишь бы избавиться от этих драгоценных камней. Пусть их там сияют где-нибудь в другом месте. Я человек тихий, и не всякие украшения в жизни люблю. О голубых же глазах, пожалуй, могу вам рассказать. Голубой цвет с зеленым и близок. Как Небо близ-

ко к Земле. И ак Дьявол любит украшать собой храмы.

Я только об одном маленьком случае расскажу. Было это в очень далекие дни. И я и мой товарищ были студентами-первокурсниками. Святки. Первые совсем свободные Святки в маленьком провинциальном городке. Вы человек столичный. Этого очарования не знаете. В смешном городке, где все наперечет, мы совсем особые герои. Студенты, во-первых, с этим не шути, а во-вторых, мы оба из числа избранных: я — сын помещика, в некотором роде краса местного дворянства, а мой товарищ — сын богатейшего местного купца, и не какого-нибудь лавочника, а коммерсанта с образованием и со вкусами. Юноши мы были начитанные, что ни слово, то Байрон и Шекспир. Тогда вкусы ведь были иные. В каждом доме желанные гости, мы, однако, не особенно удостаивали своих земляков посещениями. Избрали дом-два, ими и ограничивались. Большую же часть времени проводили — голубоглазый мой друг у девушки, которую он любил, скажем, по имени Ольга, а я у девушки, которую я не то любил, не то не любил, по имени, скажем, Лиза. Ольга и Лиза были подруги по гимназии, но Лиза была девица серьезная и была на педагогических курсах, а Ольга нрава более светлого и веселого, ее прочили в театральные звезды, и она была в драматической школе. Все вместе мы приехали в этот городок на Святки, и проводили время то попарно, то все вместе, то я вдвоем с моим другом. Мой голубоглазый друг был весьма победительный юноша. Он уже сокрушил, впрочем, не трагически несколько девических сердец, но теперь он действительно любил, тем более, что Ольга не вполне ему отвечала, любила — не любила, скажет да, назад возьмет, скажет нет — изводится, опять скажет да. И долго это тянулось. Все же как будто она его воистину любила. Мне об этом однако больше говорила, чем ему. И он мне много о ней говорил. Всегда. Я для него был романтически-верный друг. Он должен был мне исповедываться, хотя смотрел на меня несколько сверху вниз, ибо был умнее и красивее меня, и гораздо более, чем я, был отмечен чужим вниманием.

Когда Сергей, — так звали моего друга, — начинал говорить об Ольге, о своих терзаниях, и о том, что она сразу и дает ему целую жизнь, целое счастье единственное, и целиком заслоняет от него его собственную жизнь, он был всегда чрезвычайно красив и красноречив. Я почему-то всегда мысленно называл его маркизом Позой. Он говорил мне о каждой мелочи своего романа, я же ему, со своей стороны, мало что говорил о Лизе, да он и не интересовался. Совершенно ясно, как полагал он, что мы с ней вполне предназначены друг для друга, и, конечно, со временем мы поженимся. Но я не женился на Лизе. Впрочем не об этом теперь речь.

Выпал свежий снег. Все деревья увесились новыми белыми уборами. Хорошо в деревне или в маленьком городке зимой.

Сергей написал мне записку, и прислал с посыльным. Ко

мне он редко сам заходил. Больше я у него бывал. Предлагает совершить поездку за город. Отлично. Выбрали и место. Я знал, что отец мой, который жил в деревне один, и лишь приезжал время от времени в город к моей матери, будет в этот день как раз в городе. Лизе почему-то нельзя было с нами поехать, и мы отправились втроем. Как всегда в подобных случаях, захватили с собой немного вина, сладостей. Поехали.

Все было белое и воздушное от свежего чистого снега. И белый очерк Луны так свежо означался на вечернем небе. Хорошо было. Кучера мы не взяли. Ехали втроем. Сергей и Ольга были оба в задорном настроении и дразнили друг друга. Он был охотник, как и мой отец, и для него так ехать по свежей пороше — ощущение было совсем особенное, пожалуй лишь охотнику понятное. Отъединенность полная. Ни до кого нет никакого дела, душа от людей свободна, и от далеких и от близких, даже от самых дорогих. Ему тогда в сущности не с Ольгой и со мной нужно было ехать кататься, а взять ружье да собак и в лес. И Ольга, — должно быть чувствуя, что сегодня не так велика ее власть над ним, как всегда, — пенилась, как вино. Того гляди обрызнет, обожжет. Пьянить ей хотелось и пьяниться. Потому и со мной она не так как-то говорила, как обыкновенно. Ничего не было особенного, а что-то вот не так. Слово где-то за лесом свет был особенный, и на наши лица он отсвет свой бросал.

Ехали все же очень весело. Сергей надо мной трунил. Зачем, дескать, невесту свою бросил. Это слово невеста звучало в его голосе насмешливо. Не очень мне это нравилось, но я уже привык, что и он и Ольга, в сущности, всегда немного надо мной подтрунивали. Неловкий я был сравнительно с ними, не такой находчивый.

Мне до всего этого мало было дела, и я даже дивлюсь, как это память так верно и точно хранит все эти малые малости, бывшие давно-давно. Теперь я все это вижу так четко, и так определенно могу изъяснить каждую малость, как будто я это все устраивал и сам измышлял. А тогда, хоть я и не охотник, я вдвойне и втройне был отъединенный. Смотрел на березовые стволы, на убегающий снежный путь, на голубое небо сверху, и мало мне было дела, о чем тут говорят около меня. Не слова для меня говорили, а снежное безмолвие вокруг, тихий бархатный снежный праздник, с такой углубленностью всего.

Приехали. В деревне у нас, вернее, в усадьбе, около которой ютилось пять-шесть крестьянских избенок, было два дома. Один большой, двухэтажный, с большим садом, в котором все детство я провел. В этом доме тогда мы жили всей семьей лишь летом. И флигель-особняк, состоявший всего из двух комнат и прилегавший к нему через сени кухни. В этом флигеле по зимам жил мой отец, и пикники, в его отсутствие, всегда завершались там. Убранство, правда, было не роскошное, но тем веселее. В комнате, которая служила столовой, был достаточной величины стол, достаточное количество кресел и стульев, шкаф с посудой стоял в соседней комнате, служившей отцу спальней, а в столовой красовался другой шкаф объема непомерного, он весь был наполнен охотничьими ружьями, винтовками, патронташами, и всем арсеналом охотничьих принадлежностей. Отец мой любил поохотиться, и я думаю, не меньше, чем три четверти своей жизни он провел на открытом воздухе.

Старая Устинья, ключница, бывшая у нас в доме еще со времен крепостного права, принесла нам с погребца превос-

ходной простокваши и варенца. Мы расставили и свои угощения, привезенные из города. Зажурчал-замурлыкал свою песенку самовар. И старая Устинья отбыла на свою людскую половину, дабы предоставить веселящихся барчуков самим себе, и на досуге распивать чай из собственного своего самовара с мужиком Глебом, бывшим у нас чем-то вроде управляющего. Этот Глеб, возникающий и в дальнейшем в моем рассказе, был мужчина огромной силы и, будучи не лишен некоторого знакомства с отечественной историей — мы его развивали — говорил, что, хотя он и Глеб, а брат у него Борис — не знаю, был ли таковой — но, ежели к нему явится Святополк Окаянный, так он этого Окаянного во как разделает. Нрава он был при этом тихого, но, может быть, в жизни ему и пришлось однажды свернуть кому-нибудь голову.

Голоса Устиньи и мужиков еле доносились до нас из людской. Мы пили чай, обменивались незначительными фразами, и тут вдруг налетел вихрь совсем неведомо откуда. То есть, без малейшего с какой-либо стороны преуведомления. Только что я откупорил бутылку вина. Мускат-люнель. Этакая сладость. И уже предвкушал удовольствие выпить стакан этой патоки. Как вдруг — Ольга, слегка поддразнивавшая Сергея, слегка помахала перед лицом своим правой своей рукой, вытянула ее, положила на стол и спросила: «Сергей, ведь у меня красивая рука?» — «Нет», — ответил тот нарочно. Она быстро протянула руку к моему лицу и капризно сказала, обращаясь ко мне: «Васенька, поцелуйте мне руку». Это было сказано явно из каприза, притом же я не только не поцеловал ее руку, но что-то поучительное сказал на ту тему, что я у женщин не целую рук, и что это несовместимо с моими представлениями о равенстве мужчин и женщин. Однако, Сергей, побледнев, вскочил со своего места, убежал в соседнюю комнату и, мы слышали, бросился там на кровать. Ольга вдруг испугалась и серьезно и ласково позвала его: «Сергей, Сергей, поди сюда». Но он молчал. Я подобную сцену видел впервые, и мне она показалась глупой и унижительной. Я посмотрел на Ольгу вопросительно. Она шепнула: «Я сейчас приведу его». И встала с места, чтобы пойти к нему в соседнюю комнату. Но в это самое мгновение он соскочил с кровати и выбежал к нам.

Я никогда не знал до этой минуты, что человеческое лицо может так меняться в такой короткий промежуток времени. Лицо его было смертельно бледно и изуродовано судорогой, глаза светились диким зеленым светом, а коротко подстриженные белокурые волосы дыбились, как шерсть на спине у собаки, чувствующей присутствие врага. Это был не только другой человек, мне совершенно неведомый, это было другое существо. Безобразное существо и страшное, как показалось мне тогда. «Я тебя ненавижу» — воскликнул он, подымая лицо свое кверху и сжимая кулаки. «Потаскушка!» — «Сережа, Сережа» — услышал я голос Ольги, в котором звенела необычная ласковость. Она бросилась в ласковом порыве к нему, но резким движением он отшвырнул ее от себя, протянутая ее рука бессильно упала и, должно быть, очень больно ударилась о край стола. «Сергей», — закричал я, — «Что ты делаешь?» — «Ты не знаешь, Вася, ты не знаешь, какая она», — с мучением ответил он. «Вся напоказ, все в ней нарочно» — «Вася, милый, уйдите на минутку отсюда», — пролепетала Ольга умоляюще. «Да, прошу тебя, уйди на минутку», — сказал Сергей. Я не знал, что мне делать. Предчувствие меня удерживало. «Хорошо, я уйду, но действительно на несколько минут, я похожу тут

около дома», — сказал я. «Мы позовем вас». «Мы позовем тебя через несколько минут». Я ушел.

Я вышел за дверь. Луна поднималась, не дойдя еще до вышней точки на своем пути. Легкие облачка бежали под ней и около нее. Старый сад был весь завален снегом, и в него нельзя было пройти. Я пошел вдоль ограды по дороге, и мне странно было, как будто маленькие, тонкие голоса бесчисленно звали меня вернуться поскорее в дом, где остались эти близкие и совершенно, ну совершенно непонятные мне люди. О чем там могли говорить они? Ночь так тиха. Что между ними встало в эту белую прозрачную ночь, когда они любят друг друга, и когда весь мир так похож на безгласный праздник, застывший в кристаллах и в белом бархате?

Я вернулся поближе к дому. Не знаю, сколько минут прошло, но во всяком случае они уже должны были бы позвать меня. Дверь из сеней на крыльцо я, уходя, оставил открытой, но та, другая дверь, ведущая во флигель, все не открывалась и не открывалась. Я близко прошел мимо окон. За ними колыхались неясные тени. Но в промерзлые окна ничего нельзя было разглядеть.

Мной овладело беспокойство — и не странно ли — к нему примешивалось еще чувство несознаваемой оскорбленности, что вот я тут должен ждать на дворе, в то время как они там в комнате вдвоем.

Я вошел в сени, я подошел уже почти к двери, как внезапно остановился, услышав там в комнате умоляющий жалкий голос Ольги и отвечающий ему совершенно для меня чужой голос Сергея. Этот чужой голос был пьяный, но не от вина, и в этом голосе была издевающаяся ласковость. Сергей говорил: «Ну что же, Олечка, выбирай, из какого ружья тебя застрелить? Вот из этого? Или вон из того? А то из винтовки? Нарезная!» В его голосе была положительная нежность. «Так выбирай же. Отпразднуем свадьбу» — «Не пиши», — сказал он вдруг, меняя голос. «Чего скулишь, как щенок? Я тебя, пожалуй, еще прибью, прежде чем убить».

Мне показалось, что я слышу, как щелкнул взведенный курок. Я быстро подошел к двери. Но, уходя, я слышал, как опустился крючок, и знал теперь, что дверь заперта. Во что бы то ни стало я должен туда войти. Но я знал, что если я подам свой голос, Сергей не пустит меня, и я слышал по голосу, что он не шутит, и что он успеет в этом случае застрелить Ольгу. Мысль, блеснувшая во мне, была счастливой. Я взял неожиданностью. Подойдя к двери, я несколько раз быстро и сильно постучал. И прежде, чем Сергей, захваченный этим звуком врасплох, успел опомниться, Ольга, догадываясь, что это я, подскочила к двери и откинула крючок.

Я вошел.

Действительно, Сергей был пьян не от вина. Налитые стаканы стояли непочатыми на столе. Ни Ольга, ни Сергей не прикоснулись к ним. Оба они были в беспомощной растерянности, и было видно, по их одежде, что они не раз за эти минуты были в борьбе. У Ольги по левой щеке шла продольная царапина, очевидно от падения на пол, причем, она задела за что-то острое. Сергей казался упоенным готовящейся казнью, в которой он еще не сомневался. Шкаф с ружьями был раскрыт, одно ружье валялось на стульях, около стола, другое стояло в ближайшем углу.

«Свидетелей желаете?» — издевающимся голосом спросил Сергей, обращаясь к Ольге. Меня он как будто даже и не заметил, или счел неодушевленным предметом. «Так я вас при свидетелях застрелю».

Он замкнул дверь на крючок и бросился к углу, в котором стояло ружье.

«Сергей, опомнись» — сказал я, беря его за руку. «Что ты хочешь делать? Опомнись, ведь она же ни в чем не виновата».

«Вася», — вдруг закричал он с иступлением, — «ты не знаешь. Вася, милый, уйди».

«Вася, не уходи» — как эхо повторила Ольга, цепляясь за мою руку.

«А, ты говоришь ему ты!» — закричал Сергей и, схватив ее за плечи, с силой ударил ее об пол.

Тут между мною и голубоглазым маркизом Позой произошла сцена, совсем недостойная шиллеровских героев.

«Бить женщину!» — воскликнул я с негодованием и схватил его за горло.

«А, ты за нее!» — ответил Сергей и в свою очередь схватил за горло меня.

Я всегда думал, что Сергей сильнее меня и более ловок. Но придало ли мне силы бешенство, охватившее меня, или сделало более ловким сознание, что если он меня одолеет, произойдет убийство, только я был в этой схватке более силен и ловок. Я чувствовал, однако, что этого торжества хватит ненадолго, и начал теснить Сергея к двери, чтобы отворить ее. Я не знал, что я дальше сделаю, но чувствовал, что непременно нужно дотесниться до двери, откинуть крючок и распахнуть дверь. Я чувствовал, что комната враждебна и что нужно открыть дверь. У меня не было ни на одну секунду мысли о себе, но мне казалось, что каждый миг может случиться непоправимое.

Сцепившись, как крючьями, руками с Сергеем, я дотеснился до двери и, разодрав кожу на правой своей руке, ухитрился, не прекращая борьбы, откинуть крючок. То, что было дальше, было, пожалуй, более смешно, чем страшно.

Едва я откинул крючок, Сергей начал одолевать меня, и я почувствовал, что он сейчас оттеснит меня от двери. Я сделал последнее усилие, вновь притиснул его к двери, толкнул ее, она распахнулась, и уже совсем не по-рыцарски в этой нерыцарской борьбе я крикнул: «Люди! Глеб! Сюда!». Но люди уже были в сенях, ибо слышали из кухни наши крики и шум борьбы. Они были в сенях и не смели войти. Теперь же обступили нас и умоляли не сердать и не ссориться. Всех трогательнее была старая Устинья, которая поняв всю сцену по-своему, успокоительно причитала, что если нас двое, а барышня одна, так ведь есть на свете еще барышни. Барышня же была ни жива, ни мертва, и во все время нашей борьбы, правда очень быстрой, глядела на нас, застыв на месте, так в этой позе она была и теперь.

Это неожиданное вмешательство человечества, не входившее в инсценировку убийства, отрезвило Сергея. «Это подло» — сказал он мне. — «Возможно», — ответил я. И, приказав причитающим верным служителям уходить теперь на кухню, велел Глебу подать лошадь и сказал, что он поедет с нами.

Правда, все это было ужасно как некрасиво. Но, не зная, что еще выдумает Сергей, я даже испытывал желание велеть связать его.

Но мы мирно уеслись в сани. Сергей и Ольга рядом на сиденьи, я на козлах, но лицом к ним. Глеб в одну минуту нарядился в тулуп и молча правил.

Не успели мы выехать за околицу, всего саженей десять от дому, как Сергей выскочил из саней и со всех ног бросился бежать назад к дому. «Он убьет себя» — пронзительно закричала Ольга. «Глеб» — вскричал я, вырывая у него

вожжи, — «Догони его и во что бы то ни стало приведи сюда». Глеб устремился за ним, но, прежде чем он успел его догнать, Сергей, видя бесполезность и невозможность противоборства, повернул и пошел к саням. «Под вашим благородным конвоем», — с иронией сказал он и поклонился, усаживаясь на свое место. «Под конвоем, так под конвоем, черт с тобой» — с раздражением подумал я. Быть чьим бы то ни было конвоиром — вовсе не согласовывалось с моим вкусом.

Вот и все, пожалуй. Мы доехали до города молча. Время от времени Сергей озирался, как человек, который только что проснулся от тяжелого сна. Потом голова его, в огромной белой папахе, бессильно падала на грудь. Среди ночных снегов, под высокой Луной и в нашем застывшем молчании он казался мне пойманным разбойником. Он был страшен и жалок.

По приезде в город он хотел остаться с Ольгой вдвоем, чтобы говорить. Но она не захотела, и я не позволил. Тогда умоляюще он стал просить меня, чтобы я отправился к нему ночевать. Он не мог быть один. Я велел Глебу обо всем молчать и отослал его к нам в дом, а сам ночевал у

Сергея. Он говорил и то, и это. Я слушал молча, как слушают больного. Что еще? Утром принесли записку от Ольги. Она писала ему, что все между ними кончено. И что же вы думаете? Он валялся на полу в судорогах, а я его утешал. Против совести утешал и обнадеживал. Потом я же, опять вступивши в права и обязанности романтического друга, ходил дважды и трижды к заупрямившейся Ольге и убеждал ее не доводить его до самоубийства. Они свиделись, но затем она ему долгий искус устроила. Целый год они были в полуразрыве. Погоняла на корде. Потом все же вышла за него замуж. И знаете, какая ирония Судьбы? Вы, конечно, догадались. Это очень просто. Я в жизни встречал ее потом, раза два, через большие промежутки. Так по старой памяти будучи со мной откровенна, она рассказывала мне о том, как она его теперь ревнует. Он ее любит меньше, чем она его, или так показывает, и бес ревности переселился в нее. Не в таких буйных формах, но, как я сказал, тихое помешательство всегда бывает более опасное.

Международное  
универсальное  
кооперативное  
издательство  
ТМА

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  
За подробностями обращайтесь  
по адресу:

S. Vangnoo (TMA)  
postlagernd/ Postamt  
D-2358 Kaltenkirchen

Подробнее ознакомиться с новым  
"НА" можно заполнив купон:

ПРОШУ ВЫСЛАТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК  
«НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ»  
ПО АДРЕСУ (по-английски печатными буквами):

ИМЯ И ФАМИЛИЯ \_\_\_\_\_  
АДРЕС \_\_\_\_\_

- продление подписки  
Цена подписки на год в США — \$ 40  
на шесть месяцев — \$ 26, на три месяца — \$ 14  
в Канаде — \$ 45 (американских)  
в других странах — \$ 65  
Авиапочтой за оклад — \$ 145

Заполните и пошлите бланк с чеком или мани-ордером по адресу:

The New American  
SUBSCRIPTION DEPARTMENT  
80 Grand Str.,  
Jersey City, N.J. 07302

**СТАРЕЙШАЯ В МИРЕ И ЕДИНСТВЕННАЯ В ЗАРУБЕЖЬЕ  
РУССКАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА**

# **НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО**

**Главный редактор АНДРЕЙ СЕДЫХ.**

**Информация, политические статьи, материалы Самиздата, экономика, наука.**

**Статьи о театре, кино, музыке, живописи, рецензии на новые книги.**

**Повести, рассказы, стихи, документальные и исторические очерки,  
путевые заметки.**

**Новости спорта.**

**В каждом номере — множество снимков, получаемых от крупнейшего в мире  
информационного агентства «Юнайтед Пресс Интернейшенал».**

## **СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:**

Ежедневное издание

**На год — 80 долларов**

**На 6 месяцев — 45 долларов**

**На 3 месяца — 29 долларов**

**На 1 месяц — 10 долларов**

Воскресное издание только

**На год — 30 долларов**

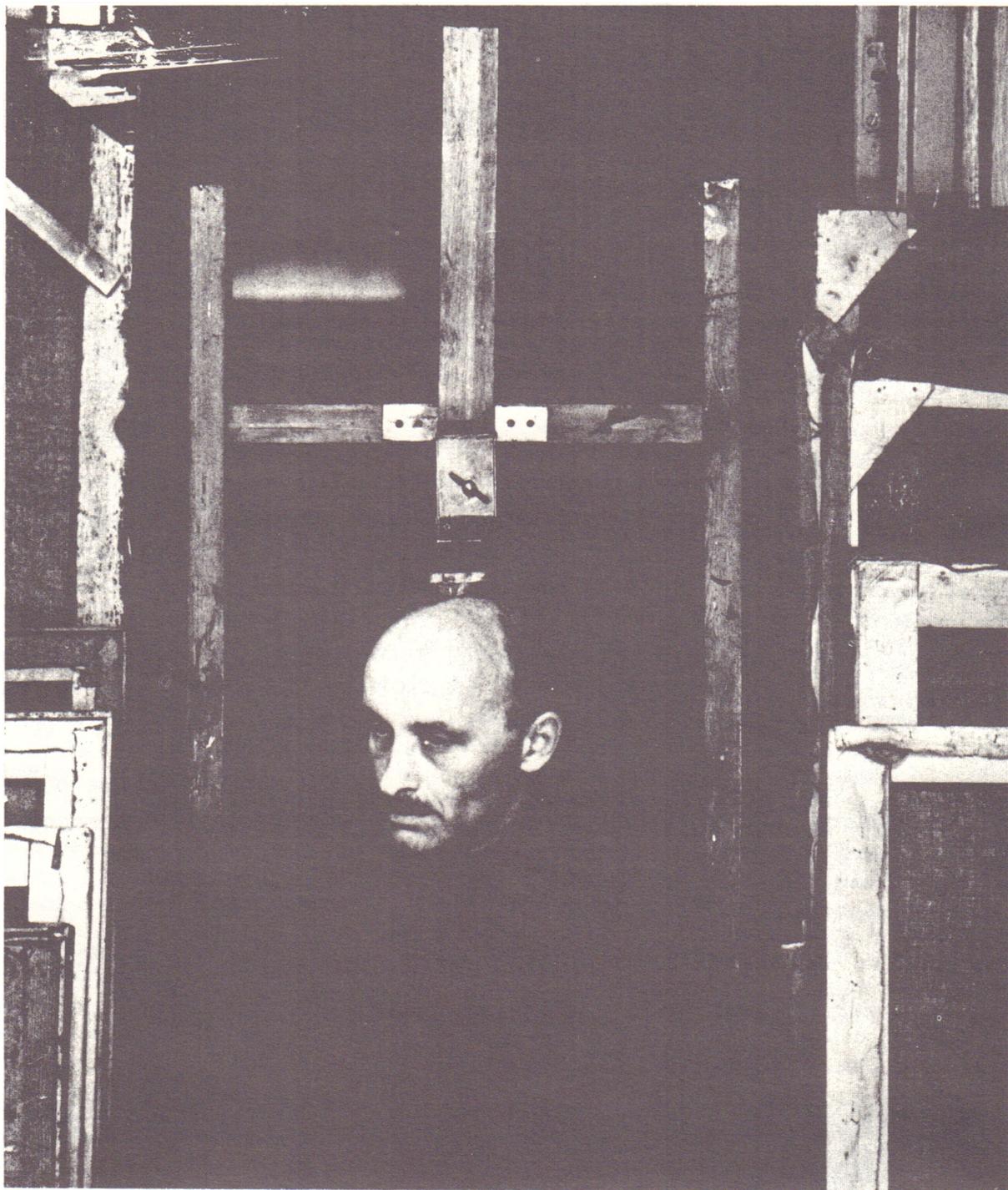
**На 6 месяцев — 17 долларов**

**Адрес: Novoye Russkoye Slovo.**

**519 8th Ave., New York, N. Y. 10018. Тел.: (212) 564-8544.**

оскар  
рабин

# ТРИ ЖИЗНИ



21.

## ГОРКОМ ХУДОЖНИКОВ-ГРАФИКОВ

Через три дня после "бульдозерной" выставки в дверь позвонили. Представился круглолицый, с хитрой физиономией молодой человек:

— Владимир Ащеулов, председатель вашего Горкома. Очень хочется познакомиться, поговорить.

Членский горкомовский билет служил для меня единственным доказательством того, что я не тунеядец, и я аккуратно платил в Горком членские взносы. Однако о том, что у нас сменился председатель, я не знал. Владимир Михайлович Ащеулов оживленно стал объяснять, что теперь, с его приходом на должность, обстоятельства коренным образом переменялись. Прежде всего, он выбил для Горкома большое под-

вальное помещение, которое при желании можно переоборудовать в выставочный зал. Кроме того, он добился расширения полномочий и хочет создать при Горкоме специальную живописную секцию, так что помимо графиков и иллюстраторов, можно будет принимать в Горком и живописцев, не членом МОСХа, устраивать для них выставки и, возможно, продавать их картины. Ащеулов возбужденно бегал по комнате. О, для горкомовских живописцев наступят райские времена, их во всем сравнивают с москвичами — так же будут распределять мастерские, посылать в дома творчества, давать путевки за границу, продавать дефицитный живописный материал...

Я слушал его болтовню и понимал, что власти наконец-то нашли удобный выход для того, чтобы как-то прибрать к рукам нонконформистов. Ащеулов, ловкий и вежливый, когда требуется, и грубый, когда нужно, являлся образчиком новой поросли молодой советской бюрократии, рвущейся к власти. Позже я с ним сталкивался множество раз. Именно Ащеулов одним из первых появился на Измайловской выставке, шнырял изюбоду, высматривал, что-то вынюхивал. На него были возложены начальством разведывательные функции.

Он сулил нонконформистам золотые горы, делая вид, что ничего не происходит, когда сразу же после выставки в Измайлово начались преследования против ее участников. Некоторым грозили службой в армии, некоторых сажали в психушки. Даже Лидочка Мастеркова, которая годами, никого не боясь, рисовала абстрактные композиции, ни с того, ни с сего получила уведомление, что если в кратчайший срок не устроится на работу, то на нее подадут в суд за тунеядство.

Чтобы хоть как-то противостоять этой кампании, от которой пострадало девять человек, мы организовали Комитет защиты художников, выставившихся в Измайлово. Получив сигнал об очередном преследовании, тут же отправляли письма протеста министру культуры, в Моссовет, в КГБ и, конечно, сообщали об этом иностранным журналистам. К сожалению, все было напрасно, если не считать случая с Лидочкой, которую, благодаря просьбам Володи Немухина, Ащеулов зачислил в еще не существующую секцию живописи.

Сам я к тому времени очень устал, и решил при первой возможности сбежать в Софронцево. Мы отправились на этот раз с моим другом, ученым-шекспироведом Пинским и художником, Героем Советского Союза Тяпушкиным, который, напомним, очень мужественно вел себя во время "бульдозерной" выставки. Днем мы работали и гуляли, вечерами вели долгие беседы и споры на самые различные темы. Энциклопедические познания Пинского всех восхищали, он рассказывал массу интересных вещей. Слушали мы и передачи западного радио, забиваемого в Москве глушилками и отлично слышимого в далекой вологодской деревне. Днем и вечером все шло ничего. Но ночью меня непрерывно мучили кошмары и, как ни странно, снилось, что я кого-то предаю. Меня подводят к гигантской, пустой и мрачной пещере с зияющими отверстиями и толкают в одно из них. Ведут узким и сырым проходом. Я пробираюсь вслепую, наткнувшись на стенки, падаю. Наконец, я попадаю в другую пещеру, где вдоль длинного стола масса народа, и я узнаю среди них и чиновников из Моссовета, и своих друзей-художников. Возле них снуют какие-то омерзительные чудовища, похожие на огромных летучих мышей со скрюченными лапами. Иногда не было ни пещер, ни чиновников, ни художников, а одни лишь эти нетопыри. Они окружали меня, душили, мучили и требовали лишь одного — предай! Я называл какие-то имена, фамилии,

кого-то выдавал, сам не зная, почему и за что, а наутро просыпался в холодном поту от пережитого ужаса. Я никогда никого в своей жизни не предавал, и, тем не менее, сны о предательстве стали для меня настоящим наваждением. Дошло до того, что наяву я уже заранее строил защитительную речь, обороняясь от нападков этих чудовищ из сновидений.

Мало-помалу я все же начинал успокаиваться, кошмары становились все более редкими и, наконец, совсем прекратились. Отдыхать приходилось урывками, я то и дело ездил в Москву, где министерство культуры, напуганное реакцией мирового общественного мнения на бульдозеры, решило проявить лояльность и продемонстрировать готовность сотрудничества с художниками. Если бы Саша Глезер остался в Москве, мне было бы легче. Много бы я мог доверить ему. Но Саша к этому времени был уже далеко. Еще в начале ноября 1974 года гебисты как-то утром ворвались в его квартиру, устроили там обыск, а потом увезли Глезера на Лубянку. Когда он рассказывал, что происходило в течение трех дней на допросах, мне стало ясно, что его хотят вытолкнуть из страны. Саша эмигрировать не хотел, да и мне не хотелось, чтобы он в такое время уезжал. Однако с каждым вопросом становилось все яснее, что или ему придется уехать, или его посадят. Если бы случилось последнее, ни я, ни другие художники помочь бы ему ничем не смогли. Ну, написали бы письма протеста. И что? Все равно бы Глезер отсидел свое, а коллекция его погибла бы. Поэтому я и многие другие нонконформисты убедили Сашу в том, что если положение будет безвыходным, то лучше бы было ему эмигрировать, конечно, с картинами и помочь нам, организуя выставки на Западе. Он, в конце концов, согласился с нашими доводами и, когда следователь поставил его перед выбором — уезжать или садиться за антисоветскую деятельность, Саша согласился на отъезд при условии, что ему разрешат вывезти его коллекцию. А нужно сказать, что существовала инструкция, согласно которой вывозить на Запад картины нонконформистов запрещалось, так как они "искажают представление о советском искусстве". Однако, от Глезера так хотели избавиться, что ему тут же после его согласия на эмиграцию дали разрешение на вывоз восьмидесяти картин, причем, без пошлины. Остальные четыреста работ Саше удалось переправить на Запад еще до отъезда.

Расставаться нам было грустно. Никто не знал, увидимся ли снова. В аэропорт его провожало человек двадцать. У нас с ним за эти последние предотъездные дни было переговорено о многом. Саша носился с идеей создать на Западе музей неофициального русского искусства. Я не знал, осуществимо ли это, но, во всяком случае, надеялся, что поскольку после бульдозеров и Измайлова интерес к нам в Европе и в США большой, то Саше с его энергией много удастся сделать. Кстати, уже через три дня после приезда Глезера в Вену, там открылась выставка картин из его коллекции. Потом пошли выставки в Западной Германии, а в начале 1976 года Саше удалось открыть в Париже музей. В общем, его деятельность на Западе во многом помогала и нам.

Но вернемся в Москву. Начались переговоры о предоставлении для выставки крытого помещения. И конечно же, в это дело немедленно вмешался Ащеулов. Он давно уже вел разговоры о создании при Горкоме живописной секции, теперь же предложил всем художникам, не членам МОСХа, подавать заявления с просьбой о принятии в эту секцию. Я решил, что как был в секции графиков, так в ней и останусь. А в Горкоме создали художественный совет и выставком, и оборотистый председатель Ащеулов устроил так, что Володя Немухин,

Дима Плавинский и Слава Калинин стали в Горкоме членами выставкома. Эти, всем нонконформистам известные художники, становились как бы залогом честности и искренности всего ащеуловского предприятия.

Ащеулов взял в свои руки организацию переговоров с властями относительно помещения для выставки и повсюду говорил, что в ближайшее время добьется для художников большого зала. Власти же согласились предоставить для выставки лишь маленький павильон пчеловодства на ВДНХ, несмотря на то, что зимой на ВДНХ пустовало множество павильонов, и они могли дать любой.

Совершенно естественно, что находившиеся в павильоне два небольших зала не могли вместить картины всех желающих выставиться художников. Ссылаясь на это, Ащеулов вместе с членами выставкома выбрал всего-навсего пятнадцать наиболее известных художников, что немедленно вызвало в нашей группе целую бурю негодования, споров и разногласий. Теперь вместо прежних теплых дружеских отношений возникла атмосфера недоверия, зависти и недоброжелательства. А это и являлось, собственно говоря, задачей Ащеулова, в этом и заключалась идея создания живописной секции при Горкоме.

Павильон пчеловодства находился в самом дальнем углу ВДНХ и был таким третьестепенным объектом, что до нашей выставки о нем вообще никто не знал. Вот и хорошо — решило начальство, — если будет очередь, никто не увидит. Кроме того, были поставлены специальные заградительные решетки, которые удлинляли дорогу до павильона, по крайней мере, раза в два. На время открытия выставки курсирование местного мини-автобуса прекратили, так что волей-неволей туда приходилось добираться пешком чуть ли не час.

Отбор картин, проведенный деятелями Горкома, вызвал серьезное недовольство нонконформистов. Получалось, что мы боролись и шли на риск, а плодами нашей победы воспользовались другие художники, которые до поры до времени предусмотрительно держались в стороне. Из выставившихся на измайловской выставке в павильоне пчеловодства, включая меня, было представлено только трое. Из-за этой выставки резко разделились точка зрения моя и большинства художников с точкой зрения Немухина, Мастерковой и Вечтомова, которые считали, что выставиться имеют право лишь самые одаренные. Мы же выступали против элитарности — за то, чтобы мог выставиться любой, кто захочет. Ведь в СССР преследуются все нонконформисты — и плохие, и хорошие, значит, для начала они все должны иметь право на выставку. Дальнейшее уже покажет, кто есть кто, и произведет отбор лучших.

Многие из отвергнутых просили также и меня не участвовать в выставке, которая противоречила всем нашим принципам. Я отвечал, что пойти на это не могу, что это — выше моих сил. Я и теперь не испытываю угрызений совести по этому поводу: впервые в жизни я мог видеть свои картины на стенах зала, по которому пройдут зрители; впервые мои полотна будут висеть рядом с полотнами моих друзей, которых, несмотря ни на что, я любил; впервые реализовалась моя многолетняя мечта, и это было для меня настолько важно, что отказаться от предложения я не мог. Однако, когда Ащеулов предложил мне войти в выставком, я сказал — нет. Я передал на выставку картины и пришел лишь на вернисаж. Выставка продолжалась десять дней и имела огромный успех.

## СЕМЬ КВАРТИР

Едва закончилась выставка в павильоне пчеловодства, как более сотни художников снова потребовали от властей места, где они могли бы выставиться. Я вошел в инициативную группу для ведения переговоров с начальством. И снова перед нами замаячило сытое лицо заместителя председателя по делам культуры Моссовета Михаила Шкодина. Он объявил, что зал предоставить возможно, но лишь для художников, проживающих в Москве. Моссовет не обязан заботиться о ленинградцах, киевлянах, ереванцах и прочих... Тщетно мы доказывали, что в Москве сплошь и рядом проводятся выставки художников из всех республик и городов Советского Союза. Переговоры были тем более изнурительными, что и в самой инициативной группе теперь царили постоянная грызня и раздоры. Постоянно находились художники, которые считали, что они — самые лучшие и что лишь они способны судить о работе других.

Существовало единственное средство, кроме выставки на открытом воздухе, для того, чтобы могли выставиться все желающие вне зависимости от художественных тенденций и места жительства. Этим средством явились выставки на частных квартирах, разбросанных по всей Москве. Подобные выставки могли вызвать большое недовольство начальства и преследование с его стороны, однако, они могли оказать на начальство и влияние, имеющее свои положительные стороны. К примеру, "бульдозерная" выставка проложила дорогу в Измайлово, а та имела совершенно исключительное влияние не только на художников-нонконформистов, но и на всех гонимых и преследуемых во всех областях искусства. Так, любители джаза тоже заявили о своем стремлении свободно выступать перед слушателями. И, как ни странно, комсомол откликнулся на этот призыв. Для молодежи были организованы своеобразные фестивали, проходившие по субботам и воскресеньям далеко в лесу, на поляне, с импровизированной эстрадой, на которую поднимался каждый желающий, и мог петь или играть, что в голову придет... до известных пределов, конечно.

То же самое происходило и в других городах. В Ленинграде художники создали движение, подобное нашему и требовали разрешить им выставку. Несмотря на постоянные споры и неуступчивость начальства мы решили действовать. В апреле этого года наша инициативная группа в Москве информировала Министерство культуры и Моссовет, что художники из разных городов Советского Союза организуют выставки на частных московских квартирах.

Скажу сразу, что найти эти квартиры было очень нелегко. Властям немедленно обо всем доносили, и на хозяев оказывалось давление. Тем не менее мы нашли семь квартир, включая мою. Выставка приняла широкий размах, в ней участвовало больше сотни художников, к которым присоединились даже некоторые члены МОСХа. Среди них особенную активность проявлял Михаил Одноралов. Он не побоялся предоставить в наше распоряжение свою мастерскую. И, наоборот, старые мои друзья — Мастеркова, Немухин, Вечтомов, — удовлетворенные выставкой в павильоне пчеловодства и посулами Ащеулова, — от нас отошли. А я на них не обижался. Ничего не поделаешь... Просто было очень грустно.

Выставка на семи квартирах предполагалась на две

недели, разделенные перерывом в десять дней, чтобы хозяева могли передохнуть, да и праздник 1-го мая приходился на это время. Часы открытия намечались так, чтобы по возможности позволить хозяевам вести нормальный образ жизни — с 6 до 8 вечера в рабочие дни и с 12 до 8 вечера по воскресеньям. И распределять картины надо было так, чтобы никто не обижался, потому что квартиры не были равноценными: одни в самом центре, другие на окраинах, одни — маленькие и неудобные, другие — большие и светлые. Мы составили список квартир с адресами и телефонами, так что зрители могли выбирать выставки, наиболее для них доступные, если не было возможности побывать на всех квартирах.

Посмотрите на эту толпу!” “А толпа тем более мне не мешает”. Но, конечно, нашлись такие, которые написали все, что от них требовали.

Мы, со своей стороны, сделали все возможное, чтобы не давать повода для обвинений. Во всех семи квартирах находились художники, которым было поручено давать зрителям объяснения и следить за порядком. Во время выставки продавать картины было запрещено, так как мы обвинений в “незаконной продаже под прикрытием выставки” не хотели. Зрителей оказалось очень много. И вели они себя чрезвычайно корректно, исключая, конечно, нескольких “специально подосланных”.



На квартирных выставках в Москве.

Еще до начала выставок к хозяевам квартир стали ходить участковые и предупреждать, что будут штрафовать — и это в лучшем случае — ибо наплыв зрителей помешает соседям нормально жить, произведет массу шума и грязи натаскают... Участковые обошли всех соседей и даже жильцов окрестных домов, предлагая сходить на выставку и собственными глазами посмотреть на ту дрянь и гадость, которую там будут выставлять, и потом написать об этом в милицию. Некоторые отвечали, что это их, собственно, не интересует. Другие “соседски” являлись, и к ним тут же прибегал участковый и управдом, чтобы собрать необходимые начальству “жалобы и свидетельства”.

Сосед по площадке рассказал мне, что он отказался писать жалобу. “Но подумайте, — сказал участковый, — они же не имеют никакого права превращать жилой дом в выставочный зал”. “А мне это не мешает”. “Не может быть!

Помню, явилась ко мне пара — мужчина и женщина, которых я видел впервые. Не сказали ни “здравствуйте”, ни “до свидания” и сразу подошли к “дежурному”, мол, необходимо срочно поговорить с Рабиным. Я привел их на кухню, и женщина объявила, что они являются представителями отдела культуры исполкома нашего района. “Эти картины, — сказала она, — и в особенности ваши, носят антисоветский характер, и мы не потерпим, чтобы они выставлялись”. На что я ответил: “Ни я, ни остальные художники, гражданка, не просили на это вашего разрешения, и вы не имеете никакого права запрещать нам что бы то ни было. Что же касается картин, то если компетентные органы установят их антисоветский характер в судебном порядке, то мы понесем за это уголовное наказание. Никакой другой цензуры мы не признаем, и в данном случае ваше мнение никакой роли не играет”. Они ушли.

На другой день меня вызвали в милицию, и начальник

отделения показал мне целую кучу жалоб и заявлений, полученных от жильцов нашего и соседних домов. "Этого вполне достаточно, — сказал он, — чтобы созвать собрание членов кооператива вашего дома и вас из него исключить. Вам вернут ваш взнос, но, потеряв квартиру, вы потеряете и московскую прописку". Я пожал плечами: "Если у вас есть на это право, то выгоняйте... Что ж я могу сказать?" Раньше, когда меня вызывали в милицию, то со мной разговаривали бесстрастно и даже вяло, как бы выполняя скучную повинность. На этот раз начальник говорил грубо и даже угрожающе: "Ваши посетители нарушают санитарные условия, они бросают окурки и плюют на пол — на площадке, на лестнице, на тротуаре. Пока платите десять рублей штрафа. Потом будет другой разговор".

На квартире Иосифа Киблицкого было по-другому. Он жил у своей приятельницы, квартира которой находилась на десятом этаже добротного дома сталинских времен в центре Москвы. К нему явилась группа инженеров и техников из их исполкома и объявила, что им приказано установить максимальное количество людей, которое в состоянии вынести пол их квартиры. Напрасно Киблицкий заверял, что впускает зрителей маленькими группами, чтобы никак не повредить потолок живущего внизу соседа. Тот немедленно прислал в исполком жалобу, что у него треснул потолок. И хотя трещины эти существовали с незапамятных времен и опасности никакой не представляли, Киблицкого обязали платить за ремонт. Мы решили собрать требуемую сумму, но выставку продолжать во что бы то ни стало. Тогда прицепились к хозяйке квартиры, обвиняя ее, что она в браке с Киблицким не состоит, а посему, поселив у себя чужого мужчину, сама подлежит выселению.

Вскоре лифт стал периодически ломаться в часы выставки, так что зрителям приходилось тащиться на десятый этаж пешком. Впрочем, это никого не смутило, и публика поднималась пешком на десятый этаж.

Для Нади Эльской дело обернулось хуже. Специальной комиссии по семейным вопросам при райисполкоме было поручено обследовать, в каких условиях живет ее маленькая дочка Нюша, с отцом которой Надя давно разошлась. Комиссия объявила, что в связи с ненормальным образом жизни, который ведет ребенок в однокомнатной квартире, превращенной в выставочный зал, ребенка надо у матери отобрать и лишить ее родительских прав. Напрасно Надя заверяла, что девочка эти два часа находится у соседей, а все остальное время проводит дома, нормально играет и нормально питается, комиссия осталась непреклонной: лишить родительских прав!

Когда Надя в слезах прибежала ко мне, я почувствовал, что она готова уступить давлению. Ничто до сих пор не могло сломить эту энергичную, мужественную женщину, но когда речь зашла о дочери, она дрогнула. Вскоре пришел ее бывший муж и рассказал, что вот уже несколько дней комиссия уламывает его вмешаться и выступить на их стороне. Мы вместе обсудили ситуацию и решили провести выставку в ее квартире только одну — первую неделю.

Если я так подробно обо всем рассказываю, то лишь для того, чтобы показать методы, используемые властями для запугивания художников и хозяев квартир. В конечном итоге все обошлось: Надю не лишили родительских прав, меня не выгнали из квартиры, подругу Киблицкого не выселили, и никто не стал платить за ремонт потолка, тем более, что сразу же после окончания выставки сосед забрал свою жалобу. Короче, первая неделя квартирных выставок закончилась благополучно к огромному облегчению художников и, в особенности, владельцев квартир.

Среди выставлявшихся, число которых к концу первой недели достигло ста восьмидесяти, были эстонцы, украинцы, литовцы, армяне и многие другие. Никто не спрашивал, где они прописаны, никто, кроме зрителей, не судил их картины. Мы на себя не брали смелость давать оценку работе наших собратьев.

Десять дней перерыва между двумя выставками были передышкой со всех точек зрения: мы могли оглядеться и подвести итоги. Выяснилось, что некоторые владельцы квартир, не выдержав давления, отказались предоставить помещение для продолжения выставки, кое-кто колебался. В конце концов, у нас осталось пять квартир, но с большей площадью и лучше расположенных. В общем-то мы находились на пределе сил, однако, отказываться от нашей затеи не собирались. Начальство, зная о нашем намерении, не оставляло нас в покое и вполне могло случиться, что какие-то из угроз они осуществят.

Прошли официальные празднества 1-го мая. Второго мая меня уже вызвали в милицию и сказали, что если выставка будет продолжаться, то меня ждет очень серьезное наказание. Позвонил Ащеулов и попросил к нему зайти. Почти час он убеждал меня не начинать вторую часть выставки. Наконец, исчерпав все аргументы, очень просто объявил, что если снова предоставлю свою квартиру для экспозиции, меня исключат из Горкома. Я понял, что нажимают, в основном, на меня, потому что если я закрою квартиру для выставки, то остальные немедленно сделают то же.

Он повел меня в соседнюю комнату, где нам навстречу поднялась женщина средних лет. Она представилась как председатель профкома при Моссовете и тут же начала мне внушать, что веду я себя как антисоветчик — мало того, подавая дурной пример, наносишь вред своим товарищам. Но, кроме того, порчу карьере председателю Ащеулову, этому энергичному, многообещающему организатору, которому доверено создание секции живописи при Горкоме графиков и иллюстраторов. Я понял, что на этот раз они что-то предпримут, но так как решение принято было давно и бесповоротно, то просто ответил:

— К сожалению, помочь ничем не могу. Я предоставил свою квартиру для проведения выставки и назад своего слова не возьму.

— В таком случае вы будете исключены! — сухо произнесла председательница.

Несмотря на то, что остальных владельцев квартир также пугали — либо по месту работы, либо в милиции, в день vernissage все наши выставки открылись. Публики было очень много и, вопреки опасениям, вторая часть выставки прошла спокойно — не явилось ни единого чиновника, ни единого милиционера. Уже на следующий день после закрытия выставок меня вызвали в Горком для рассмотрения моего "дела". Ащеулов открыл заседание и объявил об исключении некоторых членов Горкома, в числе которых назвал и мое имя. Как потом выяснилось, исключение остальных художников оказалось простой формальностью, ибо одни из них были приняты в МОСХ, а другие перешли в другой профсоюз. Два художника, Комар и Меламид пришли на это заседание и пытались меня защитить, но, конечно, из этого ничего не вышло.

Официальная причина моего исключения — отсутствие иллюстраторской работы для издательства.

— Разве неправда, что в течение трех лет вы не работали как иллюстратор? — спросил Ащеулов.

— Вы отлично знаете, — ответил я, — что вовсе не это является причиной моего исключения. Известно, что многие художники, не работая на издательства, тем не менее состоят

членами вашего Горкома. Просто вы хотите поставить меня в такое положение, когда милиция могла бы говорить со мной как с тунеядцем и соответственно себя вести. Впрочем, поступайте, как знаете.

Ащеулов стал объяснять, что едва лишь живописная секция начнет функционировать, я сразу же могу подать заявление... Но я-то знал, что живописная секция практически уже функционировала, и многие художники в ней уже состояли.

— Да, — с иронией прибавил он, — мы знаем, что вы боретесь за право всех художников участвовать в выставках. В начале мы выступали против этого, но сейчас признаем, что вы поступали правильно, и теперь мы сами будем выставлять всех, но, конечно, руководить ими.

Это обещание осталось, естественно, пустым звуком. Когда в сентябре Моссовет согласился на десять дней предоставить для выставки помещение Дворца культуры ВДНХ, то снова было объявлено: участвовать имеют право только москвичи. В этой выставке я участвовал, но по требованию начальства в организации выставки участия не принимал.

Одновременно ленинградские власти тоже "пошли навстречу" ленинградским художникам и предоставили им помещение на десять дней в сентябре.

Наступала годовщина "бульдозерной" выставки, и начальству требовалось во что бы то ни стало сорвать любые выступления в память этого события. Власти недаром назначили выставки в Москве и Ленинграде так, чтобы они пришлись на 15 и 29 сентября — дни выставок на Беляевском пустыре и в Измайлово. Многие художники хотели отметить эти даты повторением выставок на открытом воздухе. Но было объявлено, что те, кто посмеют в эти дни выставиться на улице, не будут в дальнейшем приняты ни на одну выставку. Кончилось тем, что только ленинградский художник Филимонов пришел на Беляевский пустырь и показал одну свою маленькую картину нескольким иностранным корреспондентам, которые там находились.

Так была отмечена первая годовщина бульдозерного погрома 15 сентября 1974 года.

*Продолжение следует*



## «КОНТИНЕНТ»

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ,  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
И РЕЛИГИОЗНЫЙ ЖУРНАЛ.

Главный редактор **ВЛАДИМИР МАКСИМОВ.**

Зам. главного редактора **НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ.**

Ответственный секретарь **ВИОЛЛЕТТА ИВЕРНИ.**

Зав. редакцией **АЛЕКСАНДР НИССЕН.**

Редакционная коллегия: Василий Аксенов, Ценко Барев, Николас Бетелл, Энцо Беттица, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Армандо Вальядарес, Ежи Гедроиц, Александр Гинзбург, Пауль Гома, Густав Герлигг-Грудзинский, Корнелия Герстенмайер, Петр Григоренко, Милован Джилас, Ирина Иловайская-Альберти, Эжен Ионеско, Роберт Конквест, Наум Коржавин, Эдуард Кузнецов, Николаус Лобковиц, Эрнст Неизвестный, Амос Oz, Норман Подгорец, Андрей Сахаров, Виктор Спарре, Странник, Сидней Хук, Юзеф Чапский, Карл-Густав Штрем.

Стоимость годовой подписки: 40 западногерманских марок.

Цена номера в розничной продаже:

10 западногерманских марок.

Адрес Генерального представительства:

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB.**

**Bauerstr. 28, 8000 Munchen 40, West Germany.**

**Bankkonto: Bayerische Vereinsbank Munchen Nr. 6304630.**

**Postscheckkonto: Munchen 147391-804.**

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)  
начиная с №.....

Имя: .....

Адрес: .....

Оплату произвожу:

приложенным чеком  почтовым переводом   
через банк

БЕСЕДА С ЭРНСТОМ НЕИЗВЕСТНЫМ

## «...у художника не бывает карьеры, а есть только судьба»



— Эрик, ты уже здесь восемь лет. Можешь ли ты коротко рассказать об этапах своего пути в этой второй твоей жизни, о твоем пути вверх?

— Я бы сказал не вверх, а к себе.

— Я имею в виду не творчество — о нем будет второй вопрос, а, как говорят на Западе, — карьеру.

— Кто-то хорошо сказал, что у художника не бывает карьеры, а есть только судьба. Вот с чем я столкнулся на Западе, не в Европе, а в Америке скорее. Главной темой интереса американских журналистов ко мне стала история, связанная с Хрущевым. С одной стороны, это помогало мне, т.е. обо мне писали, меня узнавали, но это же мешало именно моей художественной карьере. Почему? Потому что любой журналист больше интересовался драматическими эпизодами, связанными с моей жизнью, в основном, с Хрущевым, часто с войной или с чем-нибудь другим, и менее интересовался анализом моего искусства и проблемами, которые меня в действительности интересовали.

— А искусствоведы тоже пошли по этому пути?

— Нет, искусствоведы — нет, но даже искусствоведы все-таки считали своим долгом муссировать эту тему в первую очередь. Сегодня основным своим успехом в США я считаю то, что со страниц «политика» я перешел на страницы «люди», а потом на страницы «искусство». Это главный успех. Кстати, мое 45-минутное телеинтервью по 11-му каналу с Гаррисоном Солсбери очень символично в связи с происходящим вообще с русскими художниками, в том числе и со мной. Первый вопрос Солсбери: «Расскажите американскому слушателю о вашем

столкновении с Хрущевым или о вашей диссидентской деятельности». Я ответил: «Это было очень давно, и я устал от этого вопроса. С тех пор я сделал очень много в своем искусстве и только это меня интересует». Ну, он извинился, и потом мы уже начали говорить о «Древе жизни», о проблемах моего творчества. Вот, собственно, схема.

Вообще первое решение, которое я принял по приезду на Запад, еще в Европе, было — не эксплуатировать свое прошлое, связанное со скандалами. Я замкнулся и очень много, ты знаешь, работал. И вот такая напряженная, почти что безумная работа дала свои плоды, и я должен сказать, что прошлый год ознаменовал как бы раскрытие результатов этого пути.

— Ты имеешь в виду книги о твоём творчестве, которые вышли в разных странах, музей твоего искусства, который собираются открыть в Швеции, выставки?..

— Да, выставки продолжались все время и, конечно, продажи были все время. Цена на мои произведения постепенно поднималась. Это по-западному — главный признак роста. Ну, например, моя небольшая скульптура по приезду была продана за символическую сумму в 3000 долларов. Если же ты возьмешь последний номер журнала «Арт Ньюс», то увидишь рекламу, из которой видно, что теперь подобные



«Торс кентавра», бронза, 1961 г.

работы стоят уже 18000 долларов и больше. В западной терминологии это, так сказать, и есть знак успеха.

— «Большой скачок»?

— Да, большой, американский, гигантский... Теперь о книгах. За восемь лет обо мне вышло четыре. В 1978 году — итальянская. Книга Джона Бержера, написанная очень давно, за это время переиздана на многих языках и сейчас стала очень популярна. Сегодня ты можешь ее в новом издании купить и по-английски и по-французски. На многих языках вышла и книга Эрика Эгеланда. И еще книга Николая Новикова. Она издана только по-русски, ибо очень сложна для перевода.

— А что слышно с музеем?

— Вот это для меня крайне важно. Дело в том, что есть в Швеции человек, который начал со мной работать еще с 1977 года. Он устроил целый ряд выставок в Скандинавии. Эти выставки проходили в очень хороших музеях и галереях, а также в его собственной галерее. Он широко продавал там мои работы. Собственно, он утвердил меня в Скандинавии. Более того, он построил для меня студию в Швеции, я к нему приезжал работать на два-три месяца, причем, работал очень плодотворно, так как меня ничего там не отвлекало. Накопилось большое количество скульптур и картин, и у него возникла мысль создать музей моего искусства. Эта мысль показалась мне несколько нелепой, потому что музеи строятся или после смерти художника, или если ему уже за восемьдесят. Редко строятся музеи людям моего поколения. Я не юноша, конечно, но, во всяком случае, мой возраст отнюдь не музейный. Однако, он настаивал, приобрел трехэтажное здание с парком, и неожиданно эта идея вызвала энтузиазм у определенного числа людей. И не только в Скандинавии. Кстати, нужно сказать, что Швеция, ее государственные инстанции, поддержали идею создания такого музея и даже дали на это деньги.

— Это в Стокгольме?

— В полутора часах езды на машине от него, но очень хорошее место. Там индустриальный центр, это наиболее развитый, богатый район Швеции. И, кроме того, Швеция — страна автомобилистов, так что туда ездят люди. В его галерее за день бывает триста-четыре человека, то есть музей будут посещать. Так вот, создание этого музея поддержали многие известные интеллектуалы. Из американцев в дирек-

торат музея вошли Гаррисон Солсбери, Томас Уитни, Ричард Коэн, Артур Миллер. В Европе энтузиастом создания музея стал Пауль Сахар, крупный швейцарский дирижер и одновременно хозяин известной фармацевтической фирмы, то есть, один из самых богатых людей в мире. Он уже подарил музею несколько моих работ в бронзе, причем отлил их за свой счет. Это, в частности, его портреты и портрет Шостаковича. Сейчас намечено отлить для музея — уже есть деньги — еще двадцать семь вещей. Правда, очень странная ситуация — мы отливаем работы для музея, а их покупают. Так, мы отлили моего «Пророка» для музея, а его купил город Шопинг и поставил скульптуру в городском центре. Другая моя большая работа, около четырех метров высоты, куплена городом Левистроссом. Картины, которые я написал для музея, тоже частично проданы. Но это не страшно, у нас очень большой запас и экспозиция может меняться.

— А когда, в принципе, должно быть официальное открытие музея?

— Видишь ли, официальное открытие музея должно было состояться прошлой осенью. Но поскольку на музей были получены большие деньги, то решено все это сделать на высоком уровне. Я думаю, что музей откроется в этом году.

— Я не спрашиваю о твоих галерейных выставках, потому что они проходили, собственно, по всей Европе: ты и во Франции выставлялся, и в Италии, и в Швейцарии, и в Англии, во всех почти странах.

— Во всех. За исключением Испании. Сейчас даже в Японии и на Тайване.

— В общем нет смысла все это перечислять. Я бы хотел задать тебе вопрос из другой, как говорится, оперы. Вот ты говоришь — работы продаются. Ты знаешь, что о русском свободном искусстве разного рода скептики и злопыхатели уже много лет повторяют одно и то же: мол, к нему только политический интерес. Я обычно отвечаю им, а откуда тогда коллекционеры русского искусства, неужто они приобретают русские картины и скульптуры из-за политического интереса? Я хочу тебя попросить, чтобы ты высказался по этому вопросу.

— Ты, Саша, знаешь эту проблему лучше, поскольку я живу замкнуто, месяцами не выхожу из мастерской и не вижу людей. Но исходя просто из своего личного опыта, я могу тебе сказать:

да, действительно, поначалу был больше политический интерес, даже не политический, а интерес к личности, к истории, к жизненным процессам, а не к творчеству. Но смешно, если люди покупают за пятьдесят, за сто тысяч скульптуру, называть это политическим интересом. Говорить сегодня о политическом интересе к себе я не могу, он уже умер. Интерес чисто художественный. И, как я слышал, как я вижу, эти процессы происходят не только со мной, а со всеми активными и хорошими русскими художниками. Более того, мне кажется, что интерес к нам растет. Если взять процентно массу русских художников на Западе относительно массы западных художников, которых просто миллионы — в одном Нью-Йорке двести пятьдесят тысяч художников, — то к русскому искусству, по-моему, рекордный интерес, именно художественный интерес, если взять посещаемость тойбой организованных выставок и других экспозиций. Но, если говорить в исторической перспективе, то этого еще недостаточно. В исторической перспективе интерес будет расти, я вижу это и по своей судьбе и по судьбе других художников. Дело в том, что усиленно муссируется такая мысль — подлинное русское искусство умерло со смертью лидеров авангарда двадцатых годов.

— Она усиленно муссируется и некоторыми нашими эмигрантами.

— И нашими же, к сожалению, из каких-то своих соображений. Но, в действительности, это не совсем верно. Это, точнее, совсем не верно. Просто, так сказать, новое русское искусство, за исключением трех-четырёх его представителей не встало во весь рост. Уверен, что со временем это произойдет. Больше того, даже элементы официального советского искусства, скажем, технические достижения лучших художников, которые являются не неконформистами, а соцреалистами, с моей точки зрения, еще недостаточно оценены Западом. Идет исторический процесс как бы реабилитации, реабилитации великого русского искусства и великой русской традиции. Пусть медленно, но идет. Я слежу за книгами по искусству. Сейчас книжные прилавки заполнены гигантским количеством книг о русских художниках, которые на Западе — я не говорю о всемирно знаменитых Кандинском, Малевиче, Татлине — доныне были неизвестны, как например, Филонов и многие другие. Теперь Запад о них узнает и они вызывают здесь

восторг и удивление. Полагаю, доходит уже очередь и до нас. Вот книга обо мне, вот мой музей. Это все еще первые ласточки движения. Думаю, что в ближайшие пять-десять лет, а это исторически ничтожно короткий срок, русское искусство займет подобающее ему место в мировой культуре. Новое русское искусство.

— Ты приехал сюда уже давно сформировавшимся скульптором, художником, даже философом. Дала что-нибудь для твоего творчества западная жизнь, американская действительность, нью-йоркская действительность и западное искусство?

— Этот вопрос мне задают все искусствоведы. Иногда мне даже неудобно им говорить, насколько я не меняюсь. Дело в том, что в действительности, тот русский авангард, который я изучал в свое время, есть база моего творчества. Как, кстати, и русская классическая школа. Так что то, что я делаю, это совмещение двух школ: я пытаюсь создать то, что Кандинский называл монументальным синтезом. Иными словами — синтезировать в своем творчестве два начала: классическую мировую или русскую классическую школу фигуративного искусства и современные технологические достижения авангарда. Собственно, это основная проблема моего «Древа жизни» и моего творчества. Значит, в мировоззренческом и в духовном смысле я, конечно, несколько не изменился, да и поздно меняться. Даже в смысле формальных приемов западное искусство мне мало что дало. Конечно, новые краски какие-то я использую, отливаю бронзу не в примитивных условиях, а в лучших бронзолитейках мира, что дает мне возможность более тщательно отделять поверхность. Но это ведь только технические изменения. Некоторые вещи, например, знакомство с западным творчеством мне даже помогло освободиться от иллюзий. То, что в репродукциях мне казалось существенным и значительным, при ближайшем рассмотрении оказалось пустым, так что даже, так сказать, некоторый комплекс провинциальной неосведомленности отпал. Оказалось, что такие московские художники, как Янкелевский и Кабаков, например, да и многие другие — ни в коей степени не провинциальны. Единственно, что можно сказать, что, к сожалению, они лишены технической базы, которая есть в Америке, то есть их работы проигрывают просто из-за от-

сутствия материалов, как и мои работы проигрывали. Но, действительно, существенного мировоззренческого изменения у меня не произошло. И вот что еще, я должен тебе сказать, кстати, я уже об этом говорил и в своей книжке, и на лекциях своих во всех университетах, где я читаю лекции, об этом говорю: русские художники, которые продолжают свою линию, остаются верными себе, во-первых, не только сохранили свое лицо на Западе, но и развились, и более того, именно эти художники часто здесь преуспели. А те приспособленцы, которые, приехав на Запад, изменили своему реалистическому или какому угодно прошлому, люди, которые пошли в супермаркеты искусства, увидели, что здесь в ходу и тут же стали делать это, они в большой степени проиграли, даже на этом самом рынке.

— Потому что западные люди прекрасен понимают, кто изменился (если изменился) по внутреннему убеждению, потому что у него внутренние какие-то потребности были, а кто изменился ради, как ты говоришь, супермаркетов искусства.

— Ну, вот история с Марком Клионским. Очень типичная история развития русского советского художника — соцреалиста. Он — соцреалист, ну, реалист, скажем. Что такое соцреализм — не знаю. Был хороший академический реалист. Приехал сюда. Я сразу стал его убеждать: «Марк, не изменяй себе, ты хороший профессионал, прекрасный мастер-реалист, продолжатель русской традиционной школы. Продолжай делать свое». Но он решил, так ему показалось, что Западу он в своем качестве не нужен, и начал делать сюрреалистические работы, совершенно ему не близкие. Никакого успеха эти картины не имели. Когда же он успокоился, огляделся и стал писать, как он писал в России, то есть портреты, простые бытовые сцены, то получил достаточное признание среди художников этого профиля. Он вернулся к себе.

— Ты говоришь, что требуется время, чтобы русское искусство заняло достойное место. Согласен. Его и впрямь начинают признавать, начинают понимать и так далее. Ну, а с твоей точки зрения, ты ведь знаешь все неофициальное искусство, и вот, если сравнивать лучших, скажем, десять-пятнадцать художников с тем, что ты видишь сегодня на Западе, какой вывод ты сделаешь?

— Главный вопрос, который возни-

кает у западного зрителя, квалифицированного даже иногда, но не достаточно квалифицированного, как я считаю, не глубокого, вопрос такой: почему русские художники не полностью, так сказать, находятся в традициях русского авангарда 20-х годов? Что же происходит? Они как бы не прямо похожи. Вопрос очень наивный. Вернее, вопрос, может быть, не наивный, а вот ответ очень наивный. Дескать, советская действительность, разгром авангарда, отсутствие информации затормозили наше духовное развитие. Это, конечно — абсолютная чушь. Это все равно, что сказать подобное о немецком экспрессионизме. Что же, немецкие экспрессионисты не знали Баухауза, не знали футуризма, что ли? Нет, просто их духовная потребность, как людей из районов определенной социальной, исторической обстановки не могла выразиться в чисто формальных поисках. Поэтому современные русские художники не являются простыми продолжателями авангарда отнюдь не из-за неведения своего, а в силу внутренних духовных интересов и потребностей. Они не могут уложиться в рамки чистого авангарда, который покоился на определенных мировоззренческих концепциях. Ну, я сам, например. Я же, в конце концов, занимался у Татлина, был знаком с Родченком и хорошо изучил русский авангард, и в принципе я считаю себя продолжателем его традиций. Но ведь проблема выглядит следующим образом: русский авангард, как и мировая конструктивная абстрактная школа, в определенном смысле был представителем фабианской идеи, когда технический прогресс был равен счастью. Мы, пережив в XX веке и социальные революции, и технические революции, особенно остро в Советском Союзе поняли, что технический прогресс не соответствует духовному прогрессу, они не синонимы. Среди нас нет Маяковского, который воспевае Бруклинский мост, или Татлина, который воспевае чистую конструкцию. Я бы сказал так: если мои спиритуальные отцы двигались от человека к машине, то я и другие серьезные русские художники идем от машины к человеку и его внутреннему миру.

— И именно в этом ты видишь основную разницу между современным русским и западным искусством? В западном этого поворота еще не произошло, на твой взгляд?

— Дело не только в этом. Просто и

русский авангард двадцатых годов отличался от западного, причем отличался существенно. Я ни в коем случае не хочу быть квасным патриотом, однако надо просто, так сказать, говорить правду. На Западе, конечно, очень много грандиозных художников. Но если мы в целом возьмем массу поисков западных и массу поисков русских, то не нужно забывать, что русский авангард, при всех своих художественных, конструктивных, футуристических новациях, всегда все-таки покоился на метафизической и философской основе. То есть, отцы русского авангарда, такие как Кандинский, Малевич, Татлин и Филонов в своих манифестах никогда не были просто формалистами, они всегда базировались на религиозно-философской основе. В этом и есть различие между русским авангардом и чистым формализмом Запада. Западные художники, не все, естественно, но в массе, более прагматичны и более, так сказать, формальны. А русские формальные поиски всегда связаны с духовной основой. С духовной, религиозной или с идеологической, хотя бы. И это очень важное отличие.

— Оно касается и современных художников?

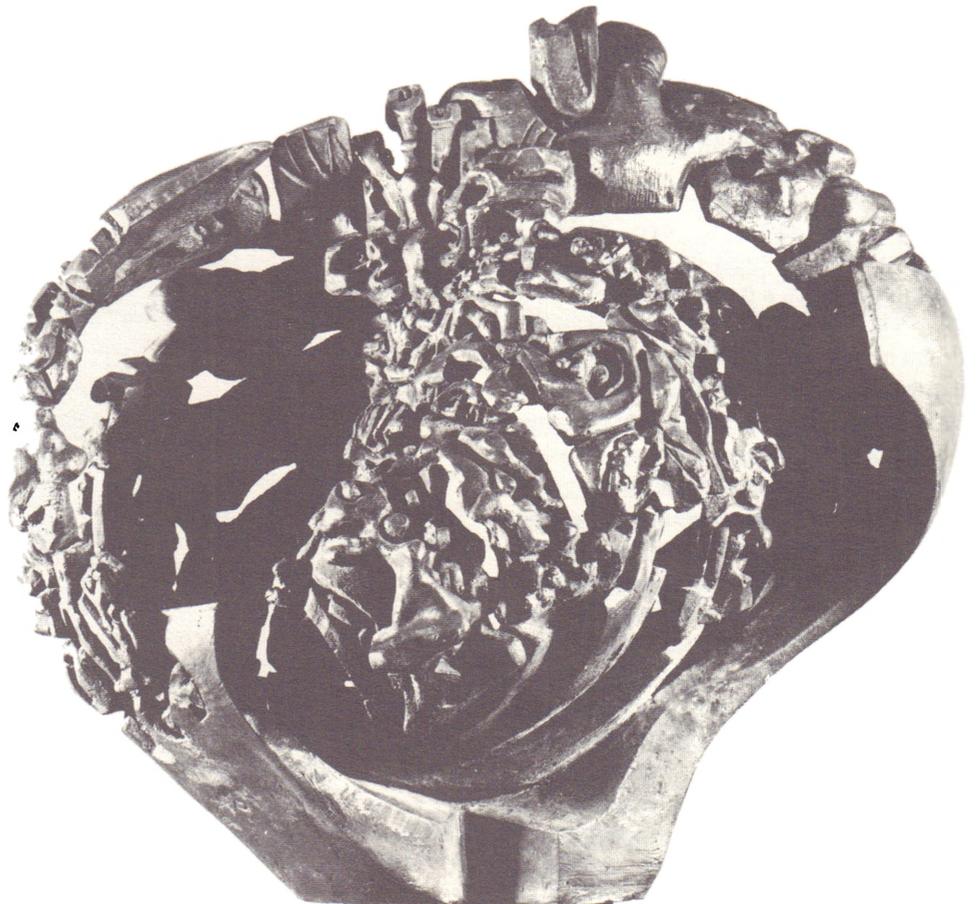
— Конечно. Современные художники — продолжатели этой традиции. Они не формалисты, даже если и являются, к примеру, чистыми абстракционистами и, более или менее, похожи на авангард начала века. Кстати, сейчас происходит интересный процесс, который меня очень оптимистически настраивает и в плане моей личной судьбы и судьбы вообще русских художников. Дело вот в чем: на Западе ныне утеряно кардинальное движение в искусстве. Ведь Запад очень цикличен, открыт, особенно Америка. Здесь возникают целостные направления, которые лидируют на определенном отрезке времени, скажем, десять-пятнадцать лет. И этим направлением в тот или иной период исчерпывается духовный климат общества. Так было с классическим абстракционизмом, потом поп-артом, затем концептуализмом. Сегодня же нет лидирующего направления. Наступил период, когда люди несколько устали от бездуховности и от распутства дилетантизма, который последовал за серьезными отцами западного авангарда, и в абстракционизме, и в поп-арте, и в концептуализме. И появились некие формы ностальгии по каким-то другим видам искусства. Ну, как всегда, нос-

тальгия выражается весьма вульгарно. Ностальгия это вообще вульгарное свойство, потому что это, так сказать, свойство памяти, обращенной в прошлое. Память, обращенная в прошлое, в искусстве не революционна. Однако, даже эта ностальгия сейчас вызывает к жизни определенные формы первоклассного искусства. Происходит возвращение в первую очередь к декоративизму, и во вторую — к фигуративизму. Это первая ласточка интереса к человеку и его проблемам. Пока, так сказать, в салонных или экспрессивных формулах. И вот теперь, я думаю, наступает время людей, которые заняты серьезно духовными проблемами творчества. И этот интерес к более человеческому, что ли, искусству, к более духовному творчеству, привлечет внимание и к русским художникам.

вание, потому что процессы в самом западном искусстве идут в другую сторону, чем хотелось бы апологетам такого вида творчества. Даже крупнейшие имена, которые создали себе имя, создали историю западного искусства, эксплуатируя элементы новаторства как новаторства и моды как моды, сейчас перестают быть здесь популярными. Как-то смешно ждать, что русские художники, которые по буклетам изучив это, пытаются подражать им, будут признаны. Поздно, как говорится, поезд уже ушел.

— Ты читаешь много лекций в университетах. О чем они и как их встречает аудитория?

— Ты знаешь мою книгу «О синтезе в искусстве». Она — база моих лекций. Речь идет о взаимосвязи различных видов искусства. Собственно, это



«Древо жизни», бронза, 1965-1983 гг.

— Которым, кстати, не надо будет, как кто-то сказал однажды — перестраиваться, переучиваться. Мы с этим приехали.

— Мы просто выстрадали это. И я думаю, что тех наших художников, которые здесь модничают и пытаются быть большими американцами, чем сами американцы, ждет глубокое разочаро-

то, чем я занимаюсь в своем «Древе жизни», где музыка входит в скульптуру, скульптура — в архитектуру, архитектура — в живопись, и более того, там и литературные ассоциации, и философские ассоциации и так далее. Я читаю лекции обычно на философских факультетах, анализирую пространство русской иконы и египетского рельефа,

анализирую романы Толстого и Достоевского, сравнивая их пространство, время и маски персонажей. Я рассказываю об истоках современного творчества и о перекрещивании двух начал современной мировой культуры, когда, скажем, библейская основа и греческая сочетаются, это, в сущности, символ современного человека. Эти лекции породили тут большую литературу. На эту тему уже написано довольно много статей разного рода исследователями, которые, опираясь на то, что я говорю, развивают идею дальше. Например, профессор Альбер Леон сейчас читает по Америке курс лекций, базируясь на моих идеях и ссылаясь на меня. Кстати, он получил заказ на книгу (она выйдет в этом году) о моем творчестве и о моей философии. В этой книге будет примерно триста страниц, и она базируется не на творчестве моем, а на моей философии, то есть, Альбер Леон анализирует мое творчество, исходя из моей философии. В общем, он попытается создать на базе моего синтеза новую методологию исследования структуры вообще.

— И как это воспринимается?

— Должен сказать, что поначалу старшим поколением профессоров это воспринималось в штыки. Почему? Потому что классическая американская школа покоится на прагматизме, на философском инструментализме Дьюи. Иными словами, на холодном анализе происходящего. Такие слова, как метафизика, философия, всякие спиритуальные изыски казались излишними для анализа искусства и совсем излишними для творчества художников. Странный подход, потому что эти люди, познакомившись с Филоновым, Малевичем и Кандинским могли заметить, что все это свойственно вообще русским художникам. Не только русским, разумеется, но русским в особенности. Молодежь же всегда воспринимала эту идею с большим энтузиазмом и в некоторых университетах мои лекции собирают огромную аудиторию. Более того, молодежь, которая несколько разуверилась просто в формальных поисках и хочет найти свое место в жизни в качестве художника или искусствоведа, верит мне, когда видит, что у меня есть система взглядов, выводящая искусство из просто товарного предмета, предмета украшательского, в область более глубокую, в область, необходимую для создания жизни в целом, а не толь-



«Торс гиганта», бронза, 1972 г.

ко жизни в искусстве. Да и вообще, изменения с молодежью очень значительные. Мы сейчас это видим во многих областях, в том числе и в политической. И самое смешное, что молодежь более склонна доверять эзотери-

ческим ценностям, чем отцы, которые опирались на ценности прагматические.

Интервью взял А. Глезер  
Нью-Йорк, март 1985

Владимир Максимов

## КУЛЬТУРА И ВЛАСТЬ

1.

«В России поэзию уважают, — выразился как-то Осип Мандельштам, — в России за поэзию расстреливают». Этот горький постулат великого поэта исчерпывающе определяет в нашей стране противостояние культуры вообще и собственно государства.

Уже отношение Ленина к культуре было типичным для мелкобуржуазной интеллигенции его времени, из среды которой он вышел и где он сформировался как человек и политик. Оракулом этой среды, идеологом и законодателем мод и вкусов являлся в ту пору Дмитрий Писарев — популярный критик нигилистического толка, определивший свое литературное кредо с недвусмысленной откровенностью: «Сапоги выше Пушкина».

При всем своем политическом экстремизме, а, может быть, именно поэтому, социальное сословие, породившее Ленина, всегда оставалось крайне консервативным в эстетической области. Его культурный радикализм не уходил дальше передвижников вроде Репина в живописи, Чайковского в музыке и Толстого в литературе. Даже Чехова, как известно, он относил к декадентам.

С годами, и в особенности после прихода к власти, эта эстетическая утилитарность принимала в нем все более и более упрощенные формы, выливаясь подчас в беззастенчивую апологетику насущного примитивизма. Общеизвестна его горячая поддержка рифмованным агиткам Демьяна Бедного, грубые выпады против конструктивистов, открытая неприязнь к Маяковскому, по адресу которого (имея в виду его посредственное стихотворение «Прозаседавшиеся»), он позволил себе единственный, хотя и весьма сомнительный комплимент: «Не знаю, как с точки зрения поэзии, но с точки зрения политической превосходно!».

Однажды, после просмотра выставки ВХУТЕМАСА Ленин обронил кокетливую фразу: «В искусстве я не знаток!» И на своем горчайшем опыте советс-

кая художественная интеллигенция вскоре убедилась, что это был первый и последний руководитель партии и правительства, который не считал себя безупречным ценителем муз.

Его наследники, в полном соответствии с законом убывающего плодородия, не только довели вульгаризаторскую эстетику своего учителя до полного совершенства, но и принялись делать из личных оценок организационные и иные выводы.

Мало того, несостоявшийся стихоплет Сталин стал определять, кто есть «лучший и талантливейший поэт нашей эпохи», еле-еле барабанящий на фортепьяно Жданов поучает Шостаковича нотной грамоте, а придворный паяц Каганович курирует постановки пьес Булгакова в Художественном театре.

В результате их «творческого» вмешательства в культурный процесс, десятки и сотни писателей, художников, музыкантов и режиссеров оказываются в конце концов в смертных камерах Лубянки и бесчисленных бараках ГУЛАГа. Достаточно назвать лишь виднейших из них, чтобы уяснить для себя всю меру злодейств, учиненных новыми «меценатами»: Мандельштам, Мейерхольд, Бабель, Пильняк, Васильев и целый ряд других не менее блистательных имен.

В том же духе продолжали и продолжают действовать на этом поприсе их современные наследники: абсолютно безграмотный Хрущев доводит до могилы Пастернака и топчет отечественных художников-нонконформистов, а никогда ничего не читавший в своей жизни, кроме букваря и истории КПСС Брежнев изгоняет из страны Александра Солженицына.

К сожалению, здесь, на «просвещенном» Западе, с опозданием на сто лет определенная часть интеллигенции, называющей себя «левой» или «прогрессивной», зеркально повторяет зады русской истории. Оставаясь до мозга костей сугубо мелкобуржуазной, эта интеллигенция обвиняет в буржуазности все подлинно талантливое, что еще остается в Западной культуре, замещая

собственную бездарность и творческую импотенцию примитивной социальной демагогией. Сотни тысяч книг, пьес, картин и ораторий, место которым в лучшем случае на складе макулатуры, объявляются шедеврами мирового духа и откровением всех времен и народов.

В прошлом один из наших выдающихся ученых-марксистов, Александр Зиновьев сказал недавно в Гренобле: «Я презираю марксизм за его неталантливость!». Мне хотелось бы добавить к этому, что бездарность в современном мире становится еще и смертельно опасной. Не в силах утвердить себя в обществе нормальным способом, бездарность берется за оружие, замещая свой комплекс неполноценности грязной политической демагогией.

Только бездарность, провозгласившая, что сапоги выше Пушкина, способна довести общество до ГУЛАГа, а культуру до того трагически жалкого состояния, в котором она пребывает сегодня во всех без исключения тоталитарных странах.

Поэтому, когда в начале шестидесятых годов в русской литературе возникло так называемое явление Солженицына, многие в современном мире восприняли этот феномен как чудо. Но для внимательного наблюдателя последнего полувека нашей отечественной словесности это явилось лишь закономерным следствием ее изначального процесса. Явление такого порядка, как Солженицын, было бы немыслимо вне общего контекста литературного противостояния диктатуре, начиная чуть ли не с первых лет после Октябрьского переворота.

Это Соппротивление ведет свою родословную от расстрелянного Гумилева через замолчанного Булгакова, замученного в концлагере Мандельштама, затравленных Зощенко и Ахматову к затравленному же Пастернаку, и, наконец, до выброшенного из страны Солженицына. Я называю только вершины этого Соппротивления, у подножья которых теснились целые когорты непокорившихся диктату художников

от Юрия Олеши до Юрия Домбровского включительно.

Все они вместе взятые, не составляли собою никакой профессиональной или организационной структуры, любая такая структура была бы мгновенно раздавлена самым жесточайшим образом. Дело и творчество каждого из них являлось результатом сугубо личного, духовного решения, но собранные историей воедино, они оказались той непреодолимой силой, благодаря которой наша литература не только выстояла под тотальным прессом диктатуры, не только сохранила непрерывность живой нити литературного процесса, но в конце концов заявила себя сегодня во всем блеске мирового признания.

Согласитесь, что новейшая история не знает примера, когда литература, причем, в, так сказать, подпольном ее существовании, числила бы в своих рядах двух нобелевских лауреатов.

Большая русская поэтесса Наталья Горбаневская, привлеченная к суду за участие в демонстрации на Красной площади, на вопрос следователя, какие мотивы побудили ее присоединиться к демонстрации, ответила:

— Я сделала это для себя, иначе я не смогла бы жить дальше.

Только это, одно только это и ничего более движет сегодня нашей литературой Сопротивления. «Теперь не они нас, — говорит Георгий Владимов, — а мы их исключаем из своего Союза, Союза подлинных писателей».

Не знаю, к сожалению или к счастью, но «прекрасный наш союз» в зарубежном и, казалось бы, свободном далеке практически снова оказывается как бы в круговой обороне, отбиваясь от современной бесовщины, пытающейся и здесь, с помощью всех и всяческих видов подкультуры доказывать нам, что сапоги все-таки, в конечном счете и несмотря ни на что выше Пушкина, что страна, которую мы вынуждены были покинуть, не так уж плоха и что миллионы уже погибших и погибающих в ней сегодня лишь досадные издержки на пути к зияющим высотам человечества, обутого в добротные сапоги социалистического производства.

Но мы, наверное, по определению плохие ученики и плохие подчиненные. Если бы дело обстояло наоборот, то нам, согласитесь, незачем было бы уезжать, послушным и там хорошо живет. Поэтому каждый из нас каждым своим словом и строчкой не перестает

и, уверен, до последнего вдоха не перестанет повторять, что все-таки, в конечном счете и несмотря ни на что, не сапоги, а Пушкин!

## 2.

В связи со всем сказанным я позволю себе обратиться к опыту собственной судьбы, чтобы на личном примере проиллюстрировать механизм самовоспроизводства, самовозрождения, самовосстановления культуры, а также ее значения в жизни человека и общества, ее необратимой непрерывности.

Моя судьба типична для нескольких поколений, рожденных и выросших в нашей стране в условиях тоталитарной системы: сын и внук рабочих-коммунистов, абсолютно равнодушных к культуре, религии и ко всему, что лежит вне социальной сферы вообще, я в начале жизни являл собою почти растительное существо, которому можно было привить любые свойства и склонности, что и пыталась проделать со мною, как и с миллионами мне подобных, политическая пропаганда в своем стремлении вывести лабораторно чистый вид «гомо советикус» — человека-робота, человека-монстра, человека-материала для самых фантастических социальных экспериментов.

С утра до вечера, дома, в школе, в общественных учреждениях, через печать, кино, радио, наглядную агитацию на улицах, нам внушалось, что ради победы коммунизма во всем мире допустимо любое преступление и любая ложь. Во имя светлых идеалов неясного будущего мы не только имели право, но и были обязаны, если потребуется, предать отца, обмануть мать, убить сестру или брата, лгать, красть.

На эту тему писалось и размножалось в миллионных тиражах множество книг, пьес, песен и другой культурной макулатуры. С этим мы утром вставали, с этим на ночь ложились спать. По этим образцам мы учились жить и действовать. Казалось бы ничто уже не могло вдохнуть в наши дырявые души животворящее тепло подлинных идеалов, жар свободного познания или жажду веры.

Именно в те годы, тогда еще не исписавшийся до идеологического рашника талантливый поэт Виктор Боков, выражая мироощущение своего поколения, писал:

*Снег вокруг нашей обители  
Намело, намело.  
Ах зачем нас обидели  
Так тяжело?*

А в своем новом романе «Чаша ярости» я передал наше тогдашнее состояние в следующих словах:

«Так мы и жили в замкнутом мире этого странного забытья, где в одном лице совмещались жертва и палач, заключенный и надзиратель, обвинитель и обвиняемый, не в силах вырваться за пределы, ибо там — в разреженном пространстве свободы — любого из нас подстерегали гибель или одиночество, которого наши слабые дырявые души боялись еще больше гибели. Смелые же, которые шли на этот риск, мгновенно исчезали, растворялись в предельном пространстве, не оставляя после себя ни следа, ни памяти.

Исключение составляли те редкие одиночки, чья высокая судьба брала свое начало еще в том золотом веке, когда литературу не так уж сильно уважали, чтобы за нее расстреливать. В известном смысле они, эти одиночки, были счастливее нас. То, к чему мы пробивались сквозь свинцовые пластижки и беспамьяства, сдирая с души коросту полых слов и фальшивых понятий, огороженные стеной грозных табу и лукавых соблазнов, им дарилось свыше вместе с самой жизнью. Знание меры подлинных ценностей облегчало для них молчаливое сопротивление, но платили они за это знание куда дороже, чем впоследствии пришлось заплатить нам».

Но большевики, утвердившись у власти, совершили исторически роковую для себя ошибку: они оставили нам классику, то есть основу основ человеческой культуры. На мой взгляд, это произошло прежде всего по двум причинам, хотя имелся тому и целый ряд причин сопутствующих. Первая из них — психологическая: будучи абсолютными нигилистами по убеждениям, вожди этого движения оставались, если можно так выразиться, дореволюционным продуктом, сохранявшим в себе подсознательную ностальгию по минувшей эпохе и ее ценностям. Вторая — политическая: большевики решили использовать в пропагандистских целях, свойственный всем великим творцам в истории пафос недовольства средой и временем, в котором они существовали, канализировав это недовольство в сугубо социальное русло.

Но войдя в соприкосновение с великими творениями человеческой культуры, каждый из нас, сам того не подозревая, словно ссохшаяся губка впитывал в себя не их социальную критику, а целительную влагу и воздух этой культуры, постепенно восстанавливая в душе и сердце утерянную было духовную память, незабываемые принципы бытия, образ и подобие Божие. Так вечная ткань культуры, возвращая нам свои дары, преодолевала и в конце концов преодолела в нас разрушительный яд самоцензуры и пропаганды.

Если же вспомнить, что русская культура, в отличие от многих других, даже в богоборческой своей части всегда питалась христианскими истоками, то станет понятно, почему сегодняшнее возвращение к ней лучших ее представителей логически повлекло за собою и их возвращение, обогатившее в наши дни своим качеством и опытом современную мысль вообще.

Примерно то же самое происходило с нами и в сфере социального существования и быта. Воспитанные в духе коллективного эгоизма и крайнего неуважения к отдельной личности мы в повседневной жизни бессознательно преступали все нравственные и Божеские законы, на которых строится цельное тело жизни, полагая, что любой грех оправдывается социальной задачей, поставленной перед нами обществом.

Но и в этой сфере мы постоянно наталкивались на поучительные препятствия, напоминавшие нам о первоосновах человеческого общежития. Можно было истребить миллионы людей, сжечь тысячи книг, скрыть множество фактов истории и культуры, но всеподавляющая система оказалась не в состоянии искоренить вневременные явления, не поддающиеся никакому контролю или цензуре: верования, фольклор, обычаи. А они-то — эти явления — прорастая сквозь толщу идеологических наслоений, словно трава сквозь асфальт или планктон в затхлой воде, и сохраняют в человеке непрерывную связь времен, культурную преемственность и историческую память. В эпоху духовного распада и социального декаданса личность может сохраниться, только охраняя эти ценности для себя и своих потомков. Другого спасения от гибельного забвения у нас нет.

Наверное, о том же самом опыте, разве что в иных вариациях, могли бы

поведать вам многие и многие представители современной русской культуры от Александра Солженицына и Андрея Сахарова до рядового учителя или врача. Именно он — этот опыт нашего внутреннего самовосстановления или, перефразируя Чехова, «выдавливания из себя раба» — способствовал мучительному, но уже необратимому преображению общественного лица современной России — и не только России. Современная Польша, где, может быть, решается сегодня судьба христианской цивилизации, лучшее тому свидетельство.

Люди моего поколения помнят, что первое польское противостояние власти пятьдесят шестого года начиналось в культуре, то есть в университетских кругах и среди интеллигенции. Как это теперь ни покажется парадоксальным, но в те поры именно рабочие, разуме-

ется, введенные в заблуждение официальной пропагандой, разгоняли в Варшаве студенческие демонстрации. Но спустя четверть века те же самые рабочие, создав свободные профсоюзы, признали лидеров этих демонстраций — Яцека Куроня и Адама Михника своими идейными вождями.

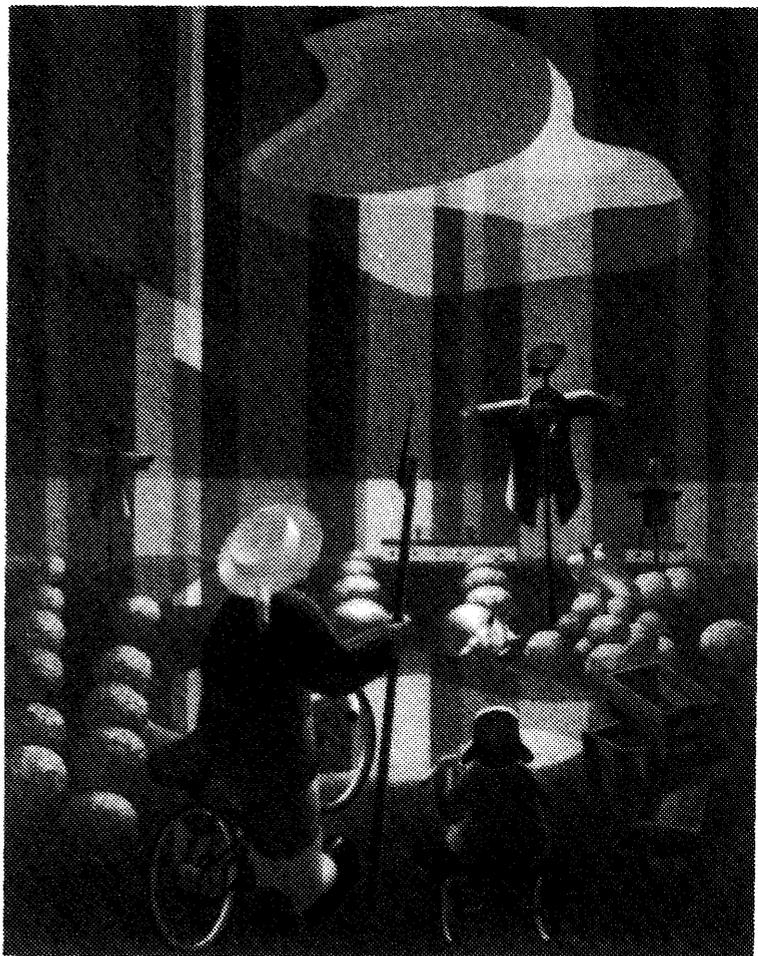
И сегодня, когда «Солидарность» загнана в подполье, а массовая база, наподобие затихающего вулкана, исподволь набирает силу для очередного извержения, культура вновь становится в стране той единственной силой, которая противостоит существующему порядку, сохраняя в обществе гремучий потенциал Сопrotивления.

И в этом, на мой взгляд, непреходящее назначение всякой культуры вообще.

*Продолжение следует*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТРЕТЬЯ ВОЛНА» ● предлагает

## ТРЕТЬЯ ВОЛНА 18



# Выставка последних поступлений

*«Выставка последних поступлений».* Так скромно называется экспозиция, которая с 23 июня по 29 сентября проходит в Музее современного русского искусства в изгнании в Джерси Сити. На ней демонстрируются двадцать две работы: картины, акварели, рельефы, рисунки, литографии и офорты шестнадцати мастеров. Все эти произведения переданы в дар музею за последние восемь месяцев самими художниками и коллекционерами. Новые работы подарили музею Оскар Рабин (картину и рисунок), Михаил Шемякин (рисунок), Олег Целков (офорт), Алекс Рапопорт (три картины), Евгений Есауленко (две картины), Виталий Длуги (масло на бумаге), Григорий Гуревич (рисунок). Картины Юрия Жарких и Владимира Григоровича передали музею американские коллекционеры Пегги и Дэвид Нолл и Эрик Спектор, рисунки Оскара Рабина — Александр Глезер.

Недавно подарили свои работы музею и участвуют в нынешней выставке молодые художники Владимир Титов, Леонид Лерман, Марина Попова, Доротея Шемякина. И особенно отрадно, (и, кстати, это свидетельствует о росте авторитета музея), что впервые передали в дар ему свои произведения такие мастера, как Юрий Купер, Виталий Комар и Александр Меламид, Владимир Григорович и Борис Заборов.

К открытию выставки музей выпустил каталог, в котором воспроизведены работы каждого участника экспозиции. В нем говорится и о том, что подобные выставки будут в будущем проводиться регулярно.

А теперь приглашаем вас на вернисаж.



Алекс Рапопорт. Из серии «Сан-Франциско», холст/масло, 1979 (дар художника)



Борис Заборов. «Поющие девочки», литография, 1985 (дар художника)



Оскар Рабин. «Натюрморт с кистями и красками», холст/масло, 1981 (дар художника)



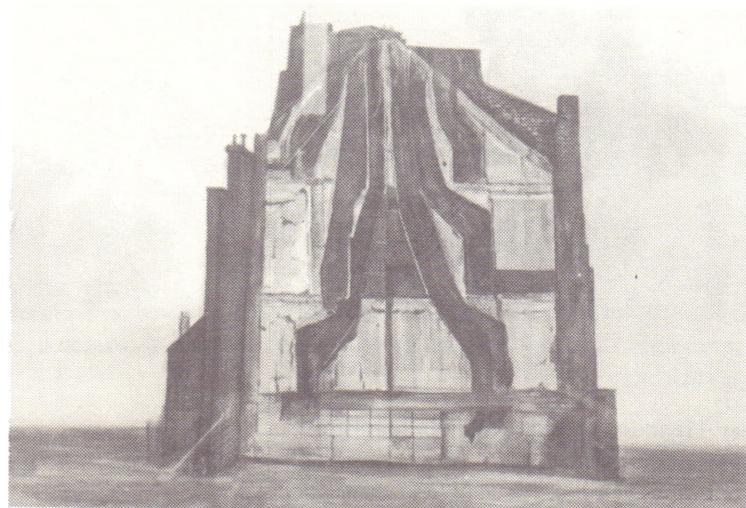
Юрий Жарких. «Ленинград», холст/см.техника, 1974 (дар Пегги и Дэвида Нолл)



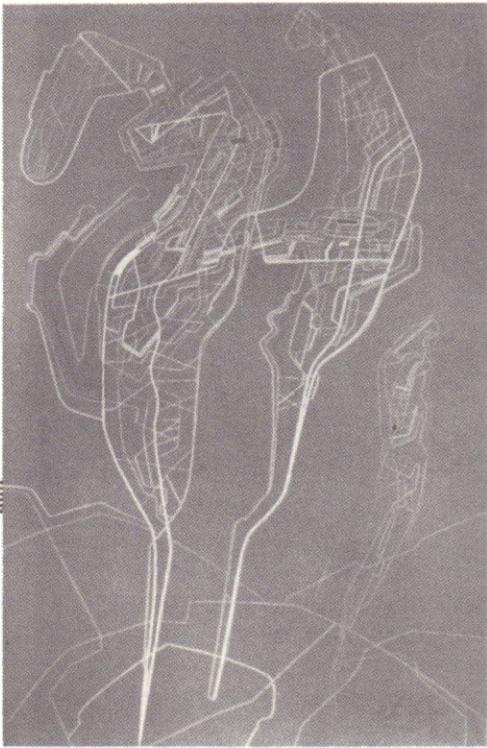
Евгений Есауленко. «Натюрморт», холст/масло, 1984 (дар художника)



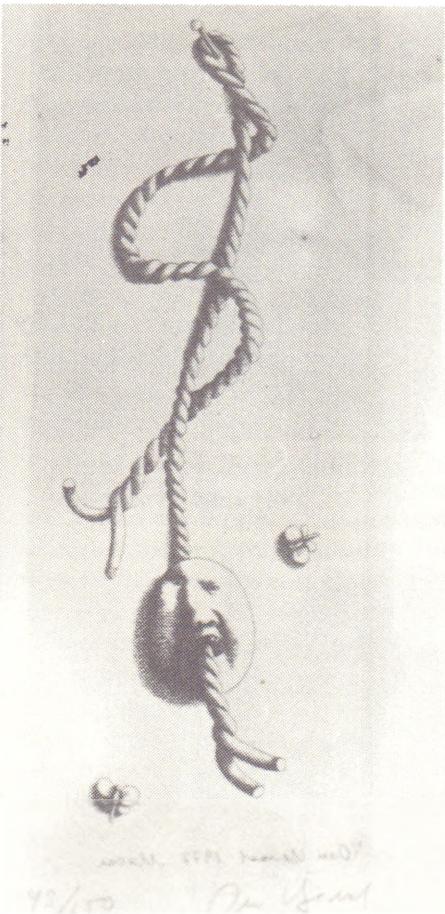
Марина Попова. «Этюд», бумага/акварель, 1983 (дар художника)



Владимир Григорович. Из серии «Дома», бумага/акварель, 1978 (дар художника)



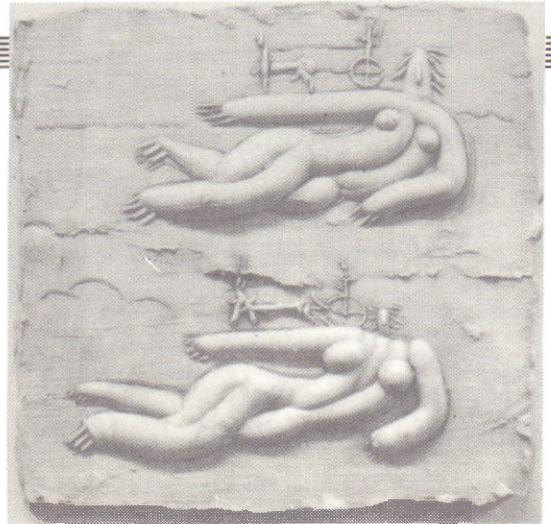
Михаил Шемякин. «Две фигуры»,  
бумага/см.техника, 1983 (дар художника)



Олег Целков. «Подвешенная маска»,  
офорт, 1977 (дар художника)



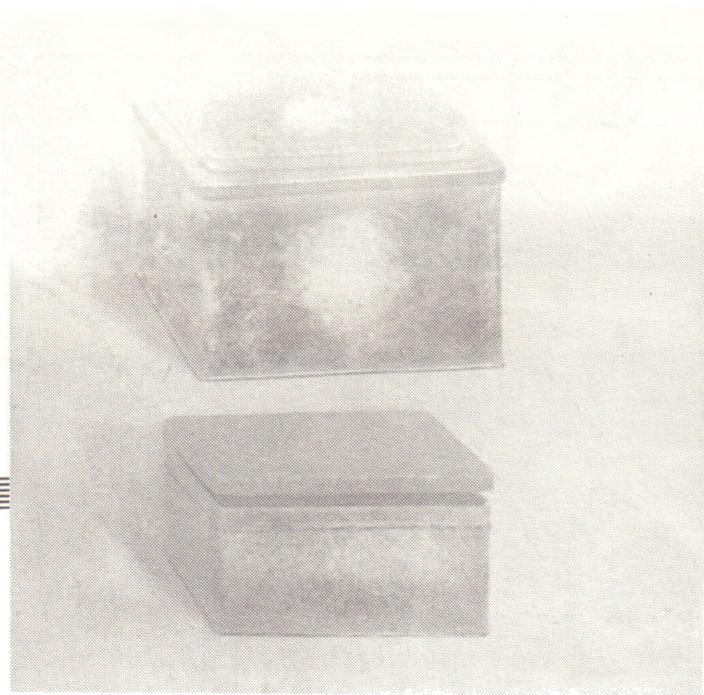
Виталий Комар и Александр Меламид. «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», литография, 1983 (дар художников)



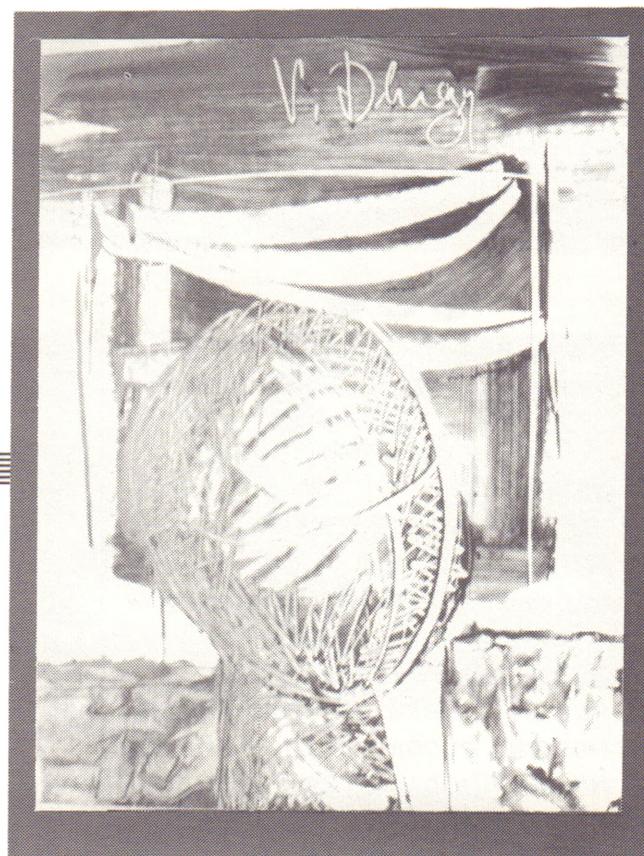
Леонид Лерман. «Женщины на пляже»,  
рельеф, 1985 (дар художника)



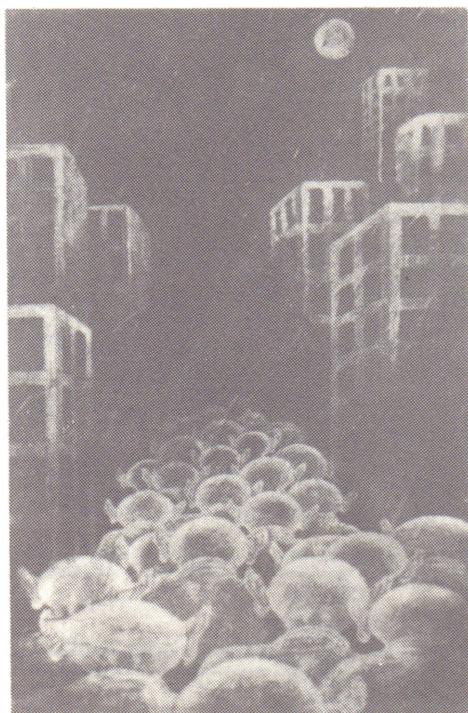
Григорий Гуревич. «Один путь»,  
бумага/см.техника, 1985 (дар художника)



Юрий Купер. «Натюрморт»,  
литография, 1981 (дар художника)



Виталий Длуги. Из серии «Головы»,  
бумага/масло, 1985 (дар художника)



Доротея Шемякина. «Нью-Йорк»,  
холст/масло, 1983 (дар М.Шемякина)



Владимир Титов. Из серии «Улицы», бумага/карандаш,  
1981 (дар художника)

# ПАРИЖСКИЕ ВЫСТАВКИ



Порою информация из Парижа поступает, как ни странно, менее оперативно, чем из Москвы. Только за три дня до вернисажа мы узнали, что в «Галерее Дины Верни» 11 июня открывается персональная выставка одного из виднейших русских художников-нонконформистов, зачинателя русского концептуального искусства, москвича Ильи Кабакова. Подробнее мы напишем об этой экспозиции в следующем номере журнала.



В начале июля в «Галерее Мари-Терез» открылась групповая экспозиция, на которой демонстрируются работы парижан Оскара и Александра Рабиных, Валентины Кропивницкой, русских американцев

Владимира Григоровича, Виталия Длуги, Леонида Пинчевского, Михаила Шемякина и москвича Владимира Немухина. Выставка продлится до четвертого августа.

